



Елена
Сибиренко-
Ставрояни

В
олшебный
СМЫЧОК

Елена Владимировна Сибиренко- Ставрояни Волшебный смычок (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27629531

*Волшебный смычок: Повести и рассказы. Сборник / Сибиренко-Ставрояни Е. В.: Станица; Киев; 2017
ISBN 978-966-7039-20-2*

Аннотация

В состав сборника включены как новые, так и лучшие уже видевшие свет произведения Елены Сибиренко-Ставрояни. Их жанровое разнообразие объединяет интерес автора к состоянию человеческой души, её положительным началам, трактуемым порой через непредсказуемые и парадоксальные жизненные ситуации.

Содержание

Манекен	5
Две капли	41
Бегущая строка	48
Три билета на оперу «кармен»	57
Дебют	69
Следы на песке	108
Несправедливость	112
Конец ознакомительного фрагмента.	145

**Елена Сибиренко-
Ставрояни
Волшебный
смычок: Повести и
рассказы. Сборник**

Обложка: Оксана Здор

В оформлении обложки использована репродукция картины Сандро Боттичелли *Благовещение Честелло*. 1489 г. (Уффици, Флоренция).

© Сибиренко-Ставрояни Е. В., 2017

© Художественное оформление. Т. о.о. Станица-Киев,
2017

Манекен

Повесть

Я – манекен.

Меня поставили на последнем этаже в отделе тканей, обернув зелёным крепдешинном. Несколько дней я стояла в одиночестве. Пока кто-то из продавцов не сказал – «Он здесь мешает, всё время задеваешь, надо его отсюда убрать». (Я подумала: «Почему – он? Я – она»). С меня смотали ткань, как нитку с катушки, унесли и задвинули в угол. Здесь не было ни продавцов, ни покупателей, ни декораторов. Здесь было много таких, как я.

– Давайте знакомиться. Меня зовут Витаус, – тихо сказал стоящий рядом.

Я растерялась. Я не знала, как меня зовут.

Я сказала ему об этом.

– Вам забыли дать имя. Такое случается. Ничего, вы одна без имени, вас не спутают. У нас две Аи, поэтому мы их называем «Ая светлая» и «Ая тёмная».

– Расскажите мне обо всех.

– Вон там, в противоположном углу, Тати – она у нас первая красавица и подружка Норты. Норт здесь главный. Он стоит этажом ниже, в отделе мужской одежды. Тати очень злится, что она сейчас в углу – она всегда на первом плане. Я

слышал, её собираются одеть в вечернее платье. Наряд ещё не готов, поэтому она тут. А это – тётушка Пюшо. Она самая старшая и наводит порядок, когда мы слишком расшумимся. Её собираются переодеть в зимнюю одежду, как и Лали.

– А тебя – во что собираются переодеть? – спросила я.

– Ни во что, – сказал он.

– Почему ты здесь?

– Я бракованный, – помолчав, сказал Витаус. – Я на несколько сантиметров ниже, чем положено.

– Куда положено? – спросила я.

– Ты ещё не очень знаешь язык – ведь тебя недавно сделали. Есть определённые стандарты, ну, нормы – ни больше, ни меньше – и надо в них укладываться. Со мной немного просчитались – сделали меньше, и теперь меня выставляют только в крайних случаях. А в основном, держат про запас.

Я поняла, в чём дело.

– Меня, наверно, тоже держат про запас. Я тоже на несколько сантиметров ниже.

– Ты – другое дело, – грустно сказал Витаус. – Для тебя это, может, даже хорошо, ты женщина.

Я подумала, как хорошо быть женщиной, если даже брак считается удачей.

– И вообще – ты хорошо получилась. Совсем, как живая, – сказал Витаус.

– Что ты такое говоришь? – спросила я. – Я и есть – живая.

– Нет. Нет, ты не живая. Ты – манекен.

Но тогда я ещё не поняла.

– Ладно, – сказала я. – Манекен так манекен.

– А я ничуть не похож на настоящего, – чуть слышно сказал Витаус.

Мне стало так его жаль, что я чуть не расплакалась. Но я не смогла расплакаться. Меня сделали с улыбкой.

Я простояла в углу три дня.

От обеих Ай я узнала обо всех манекенах магазина. Тётушка Пюшо обучала меня манерам, без которых, сказала она, не может ни один приличный манекен. Больше других помог освоиться Витаус. Тати не снисходила до разговоров со мной. Когда её унесли, Витаус сказал:

– Платье готово. Значит, сегодня ночью будет бал.

– Бал?

– Время от времени мы устраиваем балы. Всем командует Норт. Он – самый главный.

– Почему?

– Он самый высокий. Его сделали на несколько сантиметров выше, чем положено.

– Выходит, он тоже бракованный.

– Ну что ты, какой же он бракованный.

– Бракованный, только в другую сторону.

– Ты недавно родилась и ещё не всё понимаешь, – сказал Витаус. – Норт – самый главный. Быть его подружкой – большая удача. Сейчас она выпала Тати. Тати хочет покрасовать-

ся на балу в новом платье. Поэтому Норт перенёс Рождество.

– Разве можно его перенести?

– Норт всё может, если захочет. Мы будем праздновать Рождество, когда Тати будет готова его праздновать.

Тати долго не была готова. Витаус сказал, что её одели в голубое шёлковое, а она хочет сиреневое атласное, она его видела; придётся подождать.

Тётушка Пюшо возмутилась – если каждый начнёт так фокусничать, сказала она, мы будем праздновать Рождество на Пасху. Во времена её молодости девушки себе такого не позволяли. И Норт – тоже хорош, прибавила она потише, слушается Тати во всём.

Не знаю, сколько бы я простояла в углу, если бы дела в магазине не пошли хуже и хуже. Кто-то придумал организовать платную выставку нижнего грязного белья.

– Неплохая идея, – согласился директор магазина. – Такого ещё не было. Это привлечёт внимание покупателей.

– Только надо его привлечь, – сказал товаровед.

– Только как, – сказал старший продавец.

– Плакаты надоели, – сказал младший продавец.

– Может – рекламный ролик? – сказал ведущий продавец.

– Может – вещи? – сказал ведомый продавец.

Директор посмотрел на нас и сказал:

– Надо покопаться в этих отбросах, что-нибудь выудить и доставить. Это может привлечь.

– Только не мужчину, – сказал старший продавец. – Это может привлечь не всех, а некоторых – отпугнуть.

– Конечно, женщину, – сказал директор. – Хорошо бы что-нибудь нестандартное. Пусть небезупречное, но необычное.

Замдиректора подошла к нам и стала разглядывать и поворачивать к директору то одной стороной, то другой.

– Не то... Не то... Не годится... И это не то... – говорил директор.

– А ну-ка, стоп! – вдруг сказал он. – Вот это, кажется, то, что нужно.

Замдиректора держала в руках меня. Все подошли и стали разглядывать, поворачивая меня вокруг моей оси и переворачивая вниз головой. Я крикнула, чтоб они перестали, но они не слышали. Я вырывалась, но они не чувствовали. Я заплакала.

– У неё хорошая улыбка, – сказал директор. – Несимметрично, зато нестандартно.

– С ней просчитались, то ли на входе, то ли на выходе, – сказал ведущий продавец. – Видите, она немножко меньше.

– Зато здесь у неё немножко больше, – сказал ведомый продавец.

– Мы поставим её на первом этаже у входа на выставку, – сказал директор. – Мы заставим их раскошелиться.

Они ушли, шумно обсуждая. Витаус протянул мне носовой платок.

- Вот что значит – живые люди, – возмутилась тётушка Пюшо. – И они ещё воображают себя лучше нас.
- Не расстраивайся, – сказали в один голос обе Аи.
- Это большая удача. Вот так сразу – на выставку, – сказала Ая светлая.
- Ты могла полжизни простоять в углу, – сказала Ая тёмная.
- Я не хочу! Я никуда не пойду! – крикнула я.
- Кто тебя спрашивает, – сказала Лали.
- Теперь ты поняла, что ты манекен? – спросил Витаус.

* * *

Всё оказалось не так страшно (а может, я сумела настроить себя, пока они устраивали выставку). Плохо только, что к концу дня у меня немели руки и ноги – одну руку мне изогнули и завели за спину, вторую – подняли, голову – запрокинули и поставили меня на носки. И ещё – было холодно: всё время хлопала входная дверь – посетителей приходило много.

Постепенно я освоилась. Настолько, что Витаус передал мне слова тётушки Пюшо – я веду себя просто возмутительно. Конечно, они захотели – и поставили, тут уж ничего не попишешь. Но можно стоять тихо и скромно.

– Передай ей, что она сама говорила – нужно не гнушаться никакой работой и выполнять её как можно лучше. Я это и

делаю.

Директор без устали хвалил того, кому пришла идея выставить меня, и того, кто со мной немножко просчитался.

Возмущение тётушки Пюшо меня вдохновило. Я подтянулась на носках и вытянула руку как можно выше. Ещё полчаса – и магазин закроется. Можно отдохнуть. Я устала на стеклянную входную дверь. За ней весело плясали снежинки.

От распахнутой двери потянуло холодом.

Он пропускал в дверь свою спутницу, а она стряхивала в двери с зонта снег и складывала зонт. Стряхивала и складывала. Стряхивала. И складывала. Я заледенела – снаружи и изнутри.

Они, наконец, вошли.

Мне стало так жарко, как будто рядом развели костёр.

Мне захотелось сейчас же уйти со своего места или хотя бы одеться.

Он слушал её довольно рассеянно. Они купили билеты и прошли на выставку. Вскоре они ушли. Уходя, он обернулся и невидяще скользнул взглядом вокруг.

Я еле дождалась закрытия.

Собираясь домой, продавцы переговаривались. Я узнала, что выставку хотят пополнить новыми экспонатами, отвести под неё весь первый этаж, а меня поставить у входа в магазин, почти в дверях.

«Она сыграет роль хозяйки, встречающей гостей на поро-

ге».

Я не чувствовала себя пригодной для этой роли.

Когда магазин обезлюдел, я слезла со своего пьедестала и побрела на поиски Витауса. Я встретила его у лифта.

– Чего ты такая грустная, – сказал он. – Норт на сегодня назначил бал – Тати получила сиреневое платье. Времени на подготовку в обрез, лучше бы завтра, но Тати боится, что до завтра помнутся кружева. Иди скорей помогать в актальный зал. Нет, лучше не надо, отдохни, у тебя такой усталый вид. Я скажу тётушке Пюшо, что не нашёл тебя. А ты спрячься в мастерской декораторов. Никому не придёт в голову искать тебя там. Только не заглядывай в библиотеку – Норт повадился туда читать спортивные новости. И в парикмахерскую – там на Тати наводят красоту. Все с ног сбились – нигде нет нужного оттенка сиреневого лака для ногтей... Ладно, я пойду, мне ещё нужно отыскать обеих Ай. Они, наверно, проверяют у себя наличие радиоактивных изотопов. Все сотрудники магазина могут бесплатно обследоваться, ты тоже можешь. Идём, я провожу тебя в мастерскую.

Я вошла в маленькую комнатку старшего декоратора и села за стол. Я очень устала. Мне не хотелось бала. Мне не хотелось стоять в дверях на первом этаже.

* * *

Витаус позвал меня, когда приготовления были окончены.

– Идём скорей, уже начинают.

На бал пришли все, кроме тех, кто стоял в центральной витрине.

«Они будут выходить по очереди, – объяснил мне Витаус, – чтоб не было заметно».

– Еле дождалась тебя! – напустилась на меня тётушка Пюшо. – Где ты пропадала? Почему ты не одета?

– Мне нечего надеть, – сказала я.

– Я ещё не встречала такую, которой было бы что надеть. Надень то, что есть, ничего, если в нём тебя уже видели.

– Но ведь у неё действительно ничего нет, – сказал Витаус.

– Ах, да, – вспомнила она. – Ну ничего, иди так. Если ты стоишь в таком виде на виду у всей публики целыми днями, то среди своих и подавно можно.

Меня внесло в зал. Витаус затерялся. Я очутилась рядом с Лали. Она раздражённо отпихивалась руками и ногами.

– Терпеть не могу эти балы, – сказала она. – Но ничего не поделаешь – Норт велел явиться всем обязательно.

– А что ты любишь? – спросила я.

– Свободное время я провожу в вычислительном центре. Я сама там во всём разобралась.

Я один раз зашла в вычислительный центр – не представляю, как можно в этом разобраться. Даже с чьей-то помощью.

– Ты большая умница, Лали, – сказала я. – Лучше бы тебе родиться...

– Конечно, я брала книги и журналы в библиотеке. Ты бы видела, что там наворочали тупицы, которые работают днём. Я как-то слышала их разговорчики, когда меня забыли в туалете. Они ни черта не соображают. Это им бы продемонстрировать «элегантный деловой костюм для женщины средних лет», а не за монитором сидеть. Скорей бы закончилось, может, до утра ещё будет время, если бал не затянется.

А мне понравилось. Я стояла за колонной и любовалась кружащимися, как снежинки в вихре, парами. Тати была очень красива. Я ещё не видела такой красавицы. Она не уходила из центра зала, танцуя то с одним, то с другим. (Норт не танцевал). Чтоб получше рассмотреть её, я выглянула из-за колонны. Кто-то выглянул из-за соседней. Я обернулась, но никого уже не было. Я быстро пересекла зал и встала за цветочными кадками. Бал продолжался, по-прежнему играла музыка, проносились пары, но настроение у меня испортилось. Я вышла в коридор и спустилась на первый этаж в подсобку, где тётушка Пюшо заканчивала приготовления к ужину.

– Опять эти негодницы убежали проверяться. Думают, если они узнают, что больны, им станет легче жить. А мясо не доварили, – возмущённо сказала она, ткнув вилкой. – А то мясо, что сварила я, нарезали вдоль волокон. Что теперь делать с этим крошевом? На бутерброды намазать? так насыпать?... Ладно, что-нибудь придумаем. Бери нож, помогай мне. Тати совсем свихнулась. Без устриц ей и праздник не

в праздник. Деликатесов и так полно. Ты не той стороной режешь. А Норта в последнюю минуту послала разыскивать лак для ногтей. Во времена моей молодости... Зачем ты искромсала масло?

– А где сейчас Норт? – спросила я.

– Он всё время в зале. Неужто не заметила? Красивый мужчина. – (Наши представления о красоте не совпадали). – Не отходит от Тати. Иди, позови обеих Ай, от тебя никакого толку.

Я поднялась наверх и встретила Витауса. Он нёс корзину с бутылками. Он отвёл меня в сторону.

– Норт положил на тебя глаз, – сказал он грустно. – Я случайно услышал – Норт хочет, чтоб ты была его подружкой. Вместо Тати. Она ему надоела. Тати ещё не знает, но уже страшно на тебя зла. Остерегайся её.

– Я не хочу быть подружкой Норта, – сказала я.

* * *

Выставка экспонировалась последний день. Через неделю её должны были открыть вновь, пополнив новыми экспонатами.

Сегодня посетителей было особенно много. Я слышала их разговоры. Их жизнь ничем не походила на нашу. Гораздо, гораздо интереснее. Они могли, что угодно делать, куда угодно ходить, никто не мог их заставить явиться на бал, они оде-

вались во что хотели и принимали какие угодно позы. Как им повезло, что они не родились манекенами. Мне до слёз стало обидно за себя. Завтра меня отнесут в угол, где я проторчу неделю; хорошо ещё, если не поставят лицом к стене – тогда вообще ничего, кроме неё, не увидишь. Затем, если не передумают, – опять стой на выставке в той позе, какую они для тебя выберут. А потом? В лучшем случае, поставят в одну из секций, в худшем – опять в угол. Можно всю жизнь простоять в углу лицом к стене и ничего не увидеть. Угораздило меня попасть в манекены. Вернее – им родиться.

Когда продавцы разошлись, я уселась прямо на пол. Вскоре пришел Витаус.

– Завтра демонтаж, – сказала я. – Они тут все уши мне прожужжали, какой сногсшибательный успех, а ещё больший – впереди. Когда вывезят новые экспонаты, а меня поставят в дверях. Представляешь? Сейчас зима, я же замёрзну и простужусь. Но какое им дело? Завтра меня, наверно, отнесут наверх.

– На завтра Норт назначил бал – будет выбирать себе новую подружку. Тати поставили в центральную витрину из-за её сиреневого платья – такой фасон сейчас в моде. Она рвёт и мечет, что ей теперь не удастся всю ночь напролёт танцевать на балах, а ещё пуще – что Норт дал ей отставку. А тебя она хочет...

– Я-то при чём?

– Все думают, что Норт выберет своей подружкой тебя.

Вон он идёт!

– Спрячемся, Витаус, – попросила я.

Мы едва успели встать на подоконник за пыльную штору, как вошёл Норт в сопровождении дружков. Все были в чёрных смокингах, шляпах, перчатках и с тросточками в руках. Я видела их сквозь дырку в шторе. Я подумала, что Тати – очень храбрая, если выдержала с Нортом так долго.

Они светили фонариками по углам, заглядывали под кассы, одёргивали занавески примерочных, шарили под прилавками. К счастью, никому не пришло в голову поискать за шторой, а свет они не включали – он был подключён к сигнализации.

Норт встал у окна, где спрятались мы, и тихим леденящим голосом отдавал приказания. Фонариком он указывал, где ещё поискать.

– Не могла же она провалиться сквозь землю, – повторял он.

Он стоял так близко – я могла коснуться рукой его чёрной шляпы.

Что-то стучало у меня внутри, наверно, какой-то механизм.

Не знаю, сколько мы простояли после того, как их голоса смолкли.

Витаус первым выглянул из-за шторы.

– Можешь выходить, – сказал он. – Ушли.

Прежде чем спрыгнуть с подоконника, я глянула вниз, на

улицу. Там ходили люди. «Счастливые. Идут, куда хотят. И никто им не указ. И никакой Норт не страшен». Я бы согласилась прожить одну неделю, но живой. А потом – пусть бы меня выбросили на свалку.

– Витаус, – сказала я. – Витаус...

– Что? – спросил он.

– Витаус, я не хочу на бал, я не хочу на выставку.

– Я ничем не могу тебе помочь, – сказал он.

– Можешь, – сказала я. – Помоги мне убежать отсюда. Я здесь не могу больше.

– Что ты! – воскликнул Витаус. – Отсюда нельзя убежать.

– Можно, – сказала я. – Можно. Просто никто не пробо-
вал.

– Что ты... – сказал Витаус.

– Витаус, помоги мне, – сказала я. – Мне больше некого просить, а самой мне не выбраться. От тебя много не нужно – ты только встань вместо меня, в той же позе, чтоб они не заметили, что меня нет.

– Ты что – они же сразу увидят, что это не ты.

– Не увидят, – сказала я. – Они же никогда не смотрят, а если и смотрят, то не видят. Они привыкли, что на этом месте кто-то стоит на носках с задранной головой и поднятой рукой. Если будет пусто, они всполошатся. А так... Им всё равно, кто стоит. Лишь бы стоял кто-нибудь.

– Но я же мужчина, а ты женщина.

– На это никто не обращает внимания.

– Ты не сможешь отсюда выйти ночью – сразу сработает сигнализация.

– Я и не буду выходить ночью. Я оденусь и спрячусь на первом этаже в примерочной, ближайшей к выходу. Когда магазин откроют и появятся покупатели, я смешаюсь с толпой и выйду на улицу. Главное, чтоб до того, как откроют магазин, не заметили, что меня нет на привычном месте.

Витаус согласился.

– Скажешь нашим, что продавцы сами перепутали – поставили тебя вместо меня, а про меня забыли, и я убежала. Пусть не сердятся. А если что – вали на меня, всё равно меня уже нет.

– Не будет, – поправил Витаус. – Не будет в магазине.

Витаус сходил на разведку и сказал, что Норт с друзьями лежат с газетами и пивом в красном уголке перед телевизором. Теперь они до утра не сдвинутся. Тати потихоньку обрывает кружева на своём платье, чтоб её убрали из центральной витрины. Лали за компьютером. Тётушка Пюшо рассказывает поучительные истории из жизни манекенов. Аи проверяют... Словом, всё, как обычно.

– Собирайся, – сказал Витаус.

Я выбрала одежду, чтоб не бросалась в глаза. Попросила Витауса сбежать в библиотеку за книжкой «О чём должна знать каждая приличная женщина» (давно её углядела, всё руки не доходили, да я и не думала, что она мне понадобится). В кожгалантерее взяла сумочку и сложила в неё разную

мелочь. Я решила, что не разорю их. Я им принесла такую прибыль – могу взять чуть-чуть из своей доли.

Я накинула пальто.

– Стой! – крикнул Витаус. – Ещё не все. Тебе понадобятся деньги. Норт посылал меня за пивом. Вот, возьми, Норт не проверяет сдачу – он не умеет считать.

Мы спустились вниз. Я подошла к примерочной.

– Мне будет очень грустно без тебя, – сказал Витаус.

– Неужели тебе было бы веселей, если б я была подружкой Норта.

– Но ты же к нам ещё вернешься? – спросил Витаус. «Если уж я отсюда вырвусь, то ни за что сюда не вернусь». Я сказала:

– Мне кажется, мы ещё увидимся, Витаус.

Всё получилось, как я задумала. Когда массы, напиравшие снаружи на дверь, ввалились внутрь, я выскользнула за двери. Я была на свободе.

* * *

С неба срывались редкие снежинки. Было хмуро и пасмурно, а мне хотелось хохотать во всё горло. Здорово я их обставила (даром, что без мозгов) – и людей, и Норта с друзьями.

Я шла, глаза по сторонам. Это я видела раньше только из

окна. А это совсем другое.

Счастливые все вокруг, какие они счастливые. И даже не понимают этого. Теперь и я – счастливая.

Для начала (коль я хотела, чтоб меня принимали за живую), надо было почитать книжку и усвоить их манеры.

Я очень обрадовалась, что я – манекен.

Всё это было ничуть не проще компьютеров. Оказалось, что у живых женщин тоже много проблем, о которых я даже не подозревала. Им постоянно по нескольку раз в день нужно много чего делать с лицом – распаривать, втирать, намазывать тонким или толстым слоем, а после – посыпать сверху. В книжке даже обучали ходить и улыбаться. Я порадовалась, что мне нарисовали улыбку и не надо учиться, и втирать, и посыпать тоже не надо. Я всегда буду такая. Да я бы и не смогла всему обучиться.

Конечно, живые умнее меня. У манекена много преимуществ, но сердца и мозгов у меня нет. Но, может, это и есть мои самые большие достоинства.

* * *

Я истратила почти все деньги, которые дал мне Витаус. В основном, на еду. Оказалось, на ходьбу и разговор уходит много сил. Особенно на слова. Поначалу каждое слово давалось мне с трудом, да и после не так легко.

Зажглись фонари. Я продрогла до костей.

В магазине сейчас начали готовиться к балу. Я чуть не пожалела, что убежала. Но вспомнила Норта и приободрилась.

Чтоб согреться, я зашла в фирменный магазин одежды. Повсюду стояли манекены. Они меня не узнавали. Для них я была человеком.

Я подумала о Витаусе – всё ли обошлось? поверили ему? Жаль, что его нет рядом.

Рядом громко заплакал ребёнок. Я обернулась.

– Пошли, негодница, хватит здесь стоять, – сказала женщина (я обратила внимание на её пышные волосы) и начала отдирать пальчики от прилавка.

Если б у меня были мозги, я б прошла мимо. Я сказала:

– Я слышала, в соседнем отделе – крем. Морщины разглаживает, как утюгом. Если хотите, я побуду с ребёнком, вы успеете.

Женщина сказала:

– Ники, стой здесь, негодница, и не смей отходить от прилавка. Даже если тётя будет угощать конфетами и звать покататься на качелях. Поняла, что я сказала? Я сейчас.

Она вернулась разочарованная.

– Крем был, но мне не досталось. А вы мило поладили, я смотрю. Пойдём, Ники, мы опаздываем. Ко мне в девять придут, а домработницы нет.

– Пусть и она пойдёт с нами, – сказала девочка.

– Что ж... – женщина подумала. – Если нам по пути... А вам куда? – спросила она меня.

Я сочинила какую-то историю.

– Послушайте, милочка, – сказала она. – Если вам некуда идти, может, пойдёте со мной? Поможете мне, у меня сегодня гости, домработница взяла выходной, а одной мне не управиться.

Я согласилась.

Я постаралась сделать всё как можно лучше и как можно быстрее. У неё дома было гораздо красивее и наряднее, чем в магазине. Я не могла наглядеться. Гости тоже были очень милыми, правда, я видела их мельком – я входила к ним в комнату, только чтобы унести грязную посуду и принести новую порцию еды.

Вечером я уложила девочку спать. Мне никто ничего не говорил на этот счёт, но я знала, что люди ночью спят.

– Ты у нас останешься? – спросила Ники.

– Не знаю, – сказала я.

– Оставайся. Я очень хочу. Если бы мама разрешила...

Хозяйка легла спать под утро. Она велела мне domыть посуду, а потом постелить себе на диване в гостиной. Я в точности всё исполнила. Хотя в сне не нуждалась. Остаток ночи я пролежала с открытыми глазами.

Утром я приготовила завтрак и разбудила Ники.

Когда мы играли в детской, вошла хозяйка. Она была заспана, неодета, непричёсана и выглядела совсем не так, как вчера.

– Я вижу, вы славно поладили, – сказала она, зевая. – Слу-

шайте, милочка, почему бы вам не остаться? Будете присматривать за ней, от нас недавно ушла воспитательница. Вернее, нам пришлось с ней расстаться. Будете вместо неё.

Лучшего я и желать не могла: жить среди людей их удивительной жизнью, совсем не похожей на нашу – тусклую, ночную, подчинённую. Но разве могла я – манекен – быть с живой девочкой? У меня нет ни чувств, ни мыслей, ни души, ни знаний. Я сказала об этом хозяйке, оставшись с ней наедине. Хотя мне очень не хотелось говорить, что я – манекен.

– Ах, какие глупости вы говорите, – воскликнула она. – Вам только и воспитывать детей. Вы никогда не выйдете из себя, не прикрикнете, не шлёпнете под горячую руку и вам не взбредёт на ум опробовать на ней очередную систему воспитания или провести педагогический эксперимент. Ах, как мне повезло! О лучшем я и мечтать не могла. Ну, всё, милочка, одевайте её, идите гулять, а я побежала...

По вторникам, четвергам и субботам хозяйка ездила в гости. По средам и пятницам принимала у себя. Я помогала ей не только на кухне. Перед приходом гостей она была возбуждена и словоохотлива больше обычного.

– Как тебе моё новое платье? Правда, мне очень идёт этот цвет? Эта безмозглая толстушка лопнет от зависти, когда увидит меня в нём.

– О ком вы? – спросила я.

Хозяйка назвала имя.

– Вы же называете её украшением всей компании, – ска-

зала я, – и говорите всем, что она вам как сестра. И она тоже так говорит.

– Какая ты дуручка. Она меня тоже не выносит. Нельзя же всё принимать за чистую монету. Я хочу сказать – не всё так, как ты слышишь.

– Я не поняла, – сказала я.

– Потом поймёшь, давай скорей мой парик.

(Её пышные волосы оказались искусственными).

Она надела парик, застегнула грацию и стала накладывать грим.

– Ни один не принёс помаду нужного оттенка. А я ведь просила. Разогнать их, что ли, к чертям, – сказала она о любовниках.

– Разгоните, – сказала я. – У вас муж хороший. И красивый.

– Ах, милочка. Ты бы посмотрела на него, когда он вынет изо рта челюсти, снимет с живота бандаж, а с головы накладку. Ты бы от ужаса всю ночь не сомкнула глаз.

– А любовники – тоже в бандажах и с накладками? – спросила я.

– Не упрощай жизнь, милочка. Не только же внешняя красота. Ум, чувство, тело – всё нужно. Я выбрала троих – каждый виртуоз в своей области.

– А зачем вам четвёртый – муж?

– Но он же отец ребёнка. Да и молотком кто-то должен стучать в доме, и деньги в него приносить. Ах, я заболта-

лась... Когда будешь сегодня убирать грязную посуду, обрати внимание на тощую девицу в зелёном платье и прыщах, замазанных пудрой, – мою племянницу. Она недавно делала операцию, теперь у неё силиконовая грудь. Давай присмотримся. Если хорошо, может, и себе так сделать?

Когда я в этот раз, собирая грязные тарелки, подходила к какой-нибудь женщине, в голове вертелось: «А у неё тоже из силикона?»

* * *

Я начала сильно уставать от хозяйкиных приёмов. Мне нравилось быть с её дочкой. Способность иметь живых детей не подлежала разочарованию. Но что бы было с моим ребёнком, родись он тоже манекеном, – зачем? Потом я думала: «Пусть бы он был, а там было бы видно. Пусть бы только он был». Как-то мы гуляли с Ники на бульваре – я завязала ей два больших белых банта и надела набекрень белый берет – все оборачивались нам вслед.

«Я её украду».

Я придумала план: просто и надёжно – как мой побег из магазина.

Два билета на ночной проходящий поезд лежали за подкладкой моей сумочки. Я подумывала, что взять из вещей, когда ко мне вошла хозяйка.

– Я не могу тебе заплатить на этой неделе.

Она всегда платила нерегулярно.

– Я уплатила чужие долги и теперь сама всем должна. Я ухожу – на выставке демонстрация коллагеновых губ и платиновых зубов. Интересно, как бы это смотрелось на мне?.. Проверь, как Ники играет гаммы – у неё завтра музыка. А со следующей недели – французский. Ты же понимаешь, для девочки нашего круга она должна....

«Музыка, – подумала я – ... французский. Я не могу ей дать ничего. И никакого круга не будет».

Ники позвала меня поиграть. Я пришла, но голова у меня разболелась, и вскоре я спустилась к себе.

Чтобы отвлечься, я взяла вечернюю газету и начала просматривать.

«Разыскивается беглый манекен», – прочла я на первой странице.

В дверь тихонько постучали.

Я сунула газету в сумку, на цыпочках подошла к двери, глянула в замочную скважину и открыла дверь.

– Что случилось, Ники? Почему ты плачешь?

– Уходи отсюда, убегай скорей... Мама прочитала объявление в газете и хочет вернуть тебя в магазин. Я только что слышала, как она туда звонила. Беги! Она ушла – не хочет быть дома, когда за тобой придут. Мама хочет увидеть свой портрет на выставке. Они написали, что напишут портрет того, кто сообщит, и поместят его на Выставке Знаменитостей. Ещё и деньги, но для мамы не это...

Ники всхлипнула. Вынула что-то из кармана халатика.

– Беги. Вот деньги – тебе хватит на билет. Кажется, есть ночной поезд. Бери, это из моей копилки, это не мамины. Садись на такси, поезжай на вокзал и сразу уезжай.

Она разрыдалась.

Вокруг помутнело, словно у меня перед глазами появилось толстое стекло, которое всё исказило.

– Не плачь, – сказала я Ники, обняла её и расцеловала.

– Ты тоже не плачь, – сказала Ники.

– Я не умею плакать, – сказала я.

– Как жаль, что ты не человек, – сказала Ники, утерев слёзы.

Один из билетов, спрятанных за подкладку сумки, мне пригодился.

В купе я ехала одна.

* * *

Поезд прибыл на конечную станцию ранним утром.

Я дождалась, пока открылось привокзальное кафе, и села за столик. Столик стоял у окна. Окно выходило на реку.

Пляж был безлюден. Река сверкала на солнце тёмными и светлыми полосами – дух захватывало. Как должно это впечатлять живых, если даже меня задело. Я и о еде забыла. (На минутку). Посмотрела вокруг. Живые быстро жевали, гло-

тали, плевали, бросали и уходили. Конечно, они это видят каждый день, они же не торчали, сколько я, в четырёх стенах.

Когда я уходила, опять посмотрела в окно. По пляжу ходила женщина в белом халате и выбирала из урн бутылки. Неподалёку от воды мужчина раскладывал мольберт.

Я расплатилась (у меня почти ничего не осталось) и вышла.

На сдачу я купила газету и раскрыла её на странице, где было напечатано «Требуется на работу». Требовались судомойки и уборщицы. А ничего другого я и не умела.

– Вам нужна уборщица? – спросила я.

– Нужна, – ответил директор.

– Я хочу у вас убирать.

– Вы? – Он рассмеялся. – Посмотрите на себя в зеркало.

Нам такие уборщицы не нужны.

Судомойкой меня тоже не взяли.

«А вдруг они распознали, что я – манекен?»

Ночь я провела на вокзале в комнате матери и ребёнка. (Я подумала о Ники, и перед глазами опять стало расплываться).

Я внимательно наблюдала за людьми, чтобы всё делать точь-в-точь, как они, и ничем от них не отличаться. Я смотрела, а потом обнаружила, что лежу головой на чьём-то боку и щека болит от впившейся пуговицы. Я не помнила, что было перед этим. Неужели я заснула? Я поморгала глазами, села поудобнее, достала зеркальце и начала отрабатывать ми-

мику. Ничего не получалось. Проклятая улыбка как приклеилась.

«Всё-таки у манекена свои преимущества». Глядя на мою физиономию, никто не подумает, что я просидела всю ночь на вокзале и, кажется, согласилась бы вернуть саму себя в магазин за вознаграждение в виде чашки чая и бутерброда.

* * *

Я обошла все адреса, указанные в объявлениях, и пошла не по объявлениям, а просто так.

Я немного заблудилась и забрела в какой-то сад. Мне повезло – я нарвала яблок. Они были такие кислые, что у живых скулы бы свело. А мне было сладко.

Вечерело. Пора возвращаться на вокзал – ночевать. Проходя в темноте мимо кафе, я вспомнила, какой вид открывался из окна утром: река, пляж...

Идея! Достойная живого. Я тоже могу, как та женщина в белом халате, пойти на пляж, собрать бутылки, сдать их, а на эти деньги купить еду.

Утром я перешла по мосту на другой берег и очутилась на пляже. Женщины в белом не было, но художник, как и вчера, сидел за мольбертом.

Солнце только начало всходить. Серое небо трескалось розовыми ручейками.

Вдалеке, возле лежака, валялась бутылка. Я пошла за ней.

Подняла. Походила между лежаками.

Бутылок больше не было.

Возвращаясь, я замедлила шаг. Мне так хотелось взглянуть – что на мольберте и кто за ним. Я ни разу не видела живых художников. Тем более за работой.

Я подошла на цыпочках, остановилась. На холсте было точно, как в жизни. Как чудесно уметь так.

– Не люблю, когда стоят за спиной. Встаньте рядом, – сказал тот, кто сидел за мольбертом.

Я хотела подойти, но не могла двинуться с места.

– Я же говорю – встаньте рядом, – сказал он и обернулся.

Я узнала его раньше, чем он обернулся – точно так же он обернулся, уходя с выставки.

– Мне нужно, чтоб вы мне позировали, – сказал он после паузы. – Вы согласны?

«Могу ли я – манекен – позировать художнику?»

Я вошла в его мастерскую.

– Я передумал, – сказал он. – Я не буду вклеивать вас в эту обойму лиц. Для этого я найду что-нибудь другое. Я хочу сделать ваш портрет. Даже не ваш. Это будет портрет материализованной одухотворённости.

Я так растерялась, что не нашлась, что сказать.

Он усадил меня возле окна в позе, показавшейся мне неестественной. Она утомляла. К концу сеанса я не чувствовала ни рук, ни спины. Ещё больше мучило то, что я его об-

манываю.

– Я – не та, за кого вы меня принимаете, – сказала я и словно окунулась с головой в ледяную воду.

– Я никого ни за кого не принимаю, – сказал он. – Мне важно, кого я вижу. Понятно?

– Нет, – сказала я. – То есть да.

– Так «да» или «нет»? – спросил он.

– Я не человек, – сказала я.

– А кто же?

– Я – манекен.¹

Хорошо, что у меня не было сердца, а то бы оно разорвалось. И его бы опять не было.

Я встала. Сейчас он меня выгонит. Лучше уйти самой.

– Чепуха, – сказал он. – Важно не на что я смотрю, а что я вижу. Я уже вижу свою картину. Она займёт первое место на конкурсе «Одухотворённость». Я обязательно должен занять первое место. Тогда я смогу не гнать халтуру ради заработка, а... Сядь и не мешай мне работать. Ещё немного, и на сегодня хватит. Оплата в конце каждого сеанса.

Когда мы вышли из мастерской, он сказал:

– Странно...

– Что – странно? – спросила я.

– Как будто я тебя где-то видел.

«На выставке грязного нижнего белья», – подумала я. Я сказала:

¹ Mannequin (франц.) – манекен, от mannekin (голл.) – человек.

– Вы ошиблись.

– Нет, – сказал он. – Я – художник. Я помню лица. Я не мог ошибиться.

– Может, случайно встречались в городе, – сказала я.

Он пожал плечами.

Мы расстались. Я направилась к вокзалу.

Через неделю я смогла снять номер в гостинице рядом с мастерской. Это было как раз вовремя – я начала засыпать. Если поначалу мне достаточно было сидя подремать полчасика, то теперь хотелось спать всю ночь в постели. Я заметила, что без сна поутру у меня румянец не такой яркий. На вокзале я пыталась заснуть, но стали мешать свет, шум, жёсткое сиденье и локти соседей. Ночью хотелось темноты и тишины так же, как утром – света и звуков.

– Ты чего такая бледная? – спросил он меня. – Ты где живёшь?

Я ответила и указала в окно на свой балкон. Час назад я перебралась в гостиницу.

– Смотри, ты не должна менять свой облик. Во всяком случае, пока я не окончу. И не вздумай худеть. Что ты ела сегодня на завтрак?

На завтрак я доела последнее из сорванных мною яблок, которое завалилось в сумке.

– Где же это ты их рвёшь? – спросил он. – У нас нет беспризорных деревьев. Все под охраной.

Я рассказала.

– Ты с ума сошла, – сказал он. – Там находятся владения Главного. Сейчас он в отъезде. Вход туда строжайше воспрещён. Сверхчувствительные приборы улавливают тепло, запахи, биотоки, исходящие от человека, – достаточно только приблизиться, и сразу включается сигнализация. Чудо, что ты не попала. А то бы тебе несдобровать.

«Нет никакого чуда».

Он как забыл (а, может, и забыл), что я неживая, и вёл себя со мной, как с человеком.

– Ты не очень устала? – спрашивал он во время изнуряющих сеансов.

Он работал по многу часов подряд, не отходя от мольберта.

– Скоро конкурс, я должен успеть. Это будет мой шедевр. Я сделаю тебя, как живую. Благодаря светотени.

Мастерская была заставлена картинами, повёрнутыми лицом к стене.

Я спросила – почему. Он ответил, что должен несколько месяцев не видеть картину, тогда лучше видно – что не так. Если мазок грубый (резкий переход в цвете), надо сглаживать. А если смотреть каждый день, этого не увидишь.

С моим портретом он поступил так же.

– Я теперь свободна? – спросила я.

Больше всего на свете мне хотелось, чтоб он сказал: «Нет».

– Пока да, – сказал он. – Я позвоню через неделю-другую. Или позже. Если будет нужно.

Он позвонил на следующее утро.

– Быстрее приходи. Из-за возвращения Главного сроки переносятся. Открытие конкурса приурочено к его приезду.

Когда я прибежала, он стоял перед картиной и придиричиво вглядывался в неё.

– Я зря тебя побеспокоил. Сгоряча. Ты не нужна. Я и так всё вижу. А если хочешь – оставайся.

Я смотрела на портрет. Могла ли я мечтать о таком счастье, стоя на выставке в магазине?

Он подправлял прямо пальцами, сглаживая тона.

– Как вам удалось? – спросила я.

– Такое удаётся не каждый день. Может быть, раз в жизни.

– Вам обеспечены все победы на всех конкурсах, – сказала я погодя, хотя ничего не понимала в искусстве.

– Если этого не случится... После него, – (он кивнул на портрет), – я не смогу заниматься поделками.

В мастерской было холодно. Я подошла к камину.

– Возможно, ты мне понадобишься – в дальнейшем. Если не сильно изменишься.

Я хотела сказать, что манекены не меняются, но не сказала.

Он работал до сумерек.

У камина я отогрелась.

* * *

Первый приз картина не получила.

«Нельзя оживить манекен. Это я во всём виновата». Лучше б я простояла всю свою жизнь в магазине на выставке. Или в закутке на последнем этаже. Или бы меня вообще не было.

– Вон отсюда, чёртова кукла, – тихо сказал он.

Если бы манекены были живые, я бы умерла.

* * *

Я не помню, как очутилась на пляже.

Что он сейчас делает?

Телефонная будка пуста. Я зашла. И вышла. Смотрительница пляжа надевала халат и наблюдала за мной. Я подошла.

– Очень нужно позвонить, – сказала я. – А деньги я потеряла.

Она молча застёгивала пуговицы.

– Если бы вы разрешили по служебному...

– Идём, – сказала она.

Я шла впереди. Мне хотелось стереть её взгляд со своего затылка.

Мы вошли.

Я набрала номер.

Долго никто не подходил.

Женский голос произнес «Алло».

Он сказал «Дай мне трубку» и сказал «Слушаю».

Мне удалось нажать на рычаг.

– Никого нет? – спросила смотрительница.

Я пошла к выходу, чувствуя её глаза на своих лопатках.

У выхода я остановилась.

– Ну всё, иди, у меня обед, – сказала она.

Идти было некуда.

– Прогуляйся по парку, а через часок зайди ко мне.

Я вышла.

В парке вдоль центральной аллеи стояли застеклённые стенды. Под стёклами были газеты. Из-под стекла на меня смотрела моя фотография, а под ней – крупными буквами: «Разыскивается...»

Я бросилась прочь от стендов.

«Возможно, смотрительница потому и позвала меня. Не всё ли равно?.. Чем раньше, тем лучше».

– В привокзальном кафе нужно мыть по утрам посуду и чистить картошку. Если хочешь, я замолвлю словечко, там меня знают. Ночевать можешь в служебке.

Я была слишком самонадеянна, когда твердила себе, что манекены не меняются. Всего за несколько дней на лице облупилась краска, кое-где выгорели волосы, а большой и уха-

зательный пальцы правой руки потемнели от картофеля. Даже улыбка стала не такая. А хуже всего был взгляд. Встреть он меня сейчас (нет, лучше не надо), ему бы не пришло в голову – писать с меня портрет на конкурс.

С каждым днём становилось жарче, и людей на пляже прибывало.

Под вечер я пошла прогуляться в парк.

В витрине стенда меня уже не было. Под стеклом оказалась другая газета – фотография высокого мужчины в тёмном смокинге, шляпе, перчатках, с тросточкой в руке. Я прочла: «Наш Главный вручил Главный приз конкурса «Одухотворённость» нашему гениальному художнику...»

Буквы помутнели, я ничего не могла прочесть. Я подождала, протёрла рукой стекло, прочитала...

«Досаднейшая ошибка произошла при присуждении призов картинам и их создателям. Благодаря героическим усилиям нашего Главного выяснилось, что первая премия была присуждена в результате нечестных махинаций жюри и его связи с коррумпированными кругами с целью опорочить и исказить в наших глазах действительно прекрасное. Заговор раскрыт, виновные изобличены и наказаны. Истина торжествует. Побеждает подлинная красота одухотворённости: благодаря дымчатой светописии портрет живёт и движется, меняясь в зависимости от движения – символа непрерывной бесконечности жи...»

Меня схватили за руки – «Вырваться, убежать!» – руки и

ноги были как деревянные.

– Я первый, – сказал один.

– Нет, я, – сказал другой. – Я первый заметил и выследил.

– Пусть ты первый заметил. Зато я первый схватил. Деньги мои.

– Нет, мои.

Подошла смотрительница.

– Отпустили бы девчонку, – тихо сказала она.

– Это не девчонка, это манекен, – сказал один.

– Нам хорошо заплатят, – сказал другой.

– Не нам, а мне. Я первый. Я первый заметил.

– Зато я первый схватил.

– Нет я...

... я... я... первый... первый...

* * *

...в центральной витрине рядом с Тати, наряженной в сиреневое, стоял Норт в чёрном смокинге. Они хорошо смотрелись на вращающейся круглой площадке. В такт негромкой музыке Норт наклонял голову и широким жестом приглашал войти. И тотчас же Тати низко приседала в поклоне, приподнимая кончиками пальцев надорванные кружева сиреневого платья.

Я вошла, хотела идти, но... Меня взвалили и понесли.

Весь первый этаж занимала выставка.

Там, где я стояла на носках, теперь посреди расшвырянного белья лежала женщина – живая и голая.

Меня отнесли наверх в угол.

Ночью в красном уголке собирались. Они лежали перед видеомагнитофонами с «Боржоми» и иллюстрированными журналами в руках. Всем заправлял кто-то в серой визитке и котелке. Его называли Торн.

Я нигде не увидела Витауса. Не увидела никого из своих. Где они теперь?

Наутро меня втолкнули в маленькую каморку с маленьким оконцем под потолком и заперли дверь.

Льёт осенний коричневый дождь.

Из оконца видны люди, крошечные, как муравьи, – точно, как я, если б они посмотрели на меня оттуда.

Они нас не видят. Они не знают, что я и другие там, и что мы на них смотрим.

Две капли

Рассказ

Как я его не терпела! Его глаза, его сутулую фигуру, его улыбку, какую-то вымученную и жалкую, когда он смотрел на меня.

Ходил он в вечно помятом костюме непонятного цвета и стоптанных туфлях. Если было холодно, то надевал бесформенное пальто и старомодную шляпу. Каждый день приносил в авоське из магазина пакет кефира, пачку творога и четвертушку хлеба. Между тем, поговаривали, что он очень богат и, боясь за своё добро, никого не пускает и на порог квартиры. Только раз в неделю к нему приходила пожилая женщина в повязанном по-крестьянски платке и уходила с большой сумкой. Что в ней было, никто не знал.

Были у него и другие странности. Каждое утро он с большим полиэтиленовым кульком обходил мусорные баки и выбирал из них хлеб. Набив кулёк доверху, он забирал его домой. Никто не знал, что он потом делает с этим хлебом.

У старика не было ни детей, ни друзей, ни родственников. Он представлялся мне Гобсеком (я как раз увлеклась Бальзаком). Мы потешались над ним. Над его костюмом, авоськой с кефиром и привычкой рыться в мусорниках, выбирая хлеб. Взрослые улыбались исподтишка. Мы смеялись в открытую.

Петька из второго парадного очень похоже передразнивал его сутулость, чуть подрагивающие руки и шаркающую походку. Мы строили разные догадки о нём. По одной он был скупщиком краденого. По другой – коллекционером редких картин или марок, а может, монет. По третьей – просто человеком с большими деньгами, который боится воров. И было ещё много всяких догадок. Но ни одну из них нельзя было проверить. Никто не знал, как и чем он живёт. И это волновало многих. Меня же волновало другое.

Он ходил за мной по пятам. Он мне жить не давал спокойно. Я не понимала, что так привлекло его во мне. Его окна выходили во двор, и я знала, что когда мы играем в «картошку» или просто сидим на лавочке, он наблюдает за мной. Его взгляд жёг меня. Если он встречал меня во дворе или на улице, он останавливался и молча смотрел на меня, и улыбался какой-то странной улыбкой, которую я не могла понять.

Надо мной посмеивались.

– Он просто влюбился в тебя, – скалил зубы Петька.

– Он хочет сделать тебя своей наследницей и завещать тебе свои миллионы, – предполагала Аллочка с третьего этажа.

– Ты выбрасываешь больше всех хлеба, из которого он потом делает удобрения и продает по баснословным ценам. Он хочет взять тебя в долю, – острил рыжий Валерка.

Меня выводили из себя эти шуточки. Я стала отворачиваться, когда видела его. Стала грубо или резко отвечать на его приветствие – со мной он всегда здоровался первым в

отличие от остальных взрослых. Однажды он уронил авоську с продуктами и, кряхтя, собирал их. Я стояла рядом, но не помогла ему, а быстро ушла прочь, и долго чувствовала спиной его удивлённый взгляд.

Все было напрасно. Старик по-прежнему подолгу смотрел на меня.

– Верочка, скоро там свадьба? – кривлялся Петька и на-свистывал марш Мендельсона. – Пусть поторопится, а то мой дедушка тебя у него отобьёт... Ты б хоть поинтересовалась, что он делает с этим хлебом. А то будешь богатеть на дармовых хлебах, не зная технологии производства.

– А что, ребята, это идея!.. – Аллочка даже подскочила. – Пусть Вера ходит к нему. Уж её-то он не выгонит.

– Да-а-а... – протянул Петька. – Узнать бы, что у него и как.

– А вдруг выгонит? – усомнился Валерка.

– Не выгонит, – сказала Аллочка.

– Я никуда не пойду.

– Слушай, Верка, ты должна прорваться. Общественность требует, – настаивал Петька.

– Я никуда не пойду, – повторила я. – Не хочу, чтоб он меня выставил. И вообще...

– А вот вообще... Вообще – надо уважать мнение большинства, – заключил Петька. – Даже если большинство не право. Ты должна у него побывать.

– Никому я ничего не должна. И большинству тоже, хоть

правому, хоть неправому, то есть левому.

– Должна!

– Нет. Ни правому, ни левому, ни правому, ни неправому.

– Ты не должна, ты просто обязана. Супер! Мысль! Вера должна побыть у него полчаса. Если она выполняет условие, получает приз. – Петька вскочил на ящик и закричал, подняв руку вверх: – Последняя новинка сезона! Свежайшая старая книга! – Он поднял руку с воображаемой книгой и потряс ею. – Шедевральный шедевр известного писателя! «Шагреновая шкура»!

– Кожа, – машинально поправила я.

– Ну как, Верка, идёт? Понудись тридцать минут у старикашки – и книга твоя навечно, – он знал мои слабые струны.

– И заодно бы сказала, чтоб он на тебя не пялился без конца, – сказал Валерка.

«Ну разве сказать, чтоб не пялился...» – подумала я.

– Идёт? – спросил Петька.

– А что я скажу – чего я пришла?

– Реклама товаров, ищешь дворника или м-м-м-м... рейд по сансостоянию квартир... Придумаешь что-нибудь.

Придумывать ничего не пришлось. Почти сразу, как я нажала кнопку звонка, дверь открылась.

– Верочка! – удивлённо и радостно проговорил старик из тёмной прихожей. – Входите же, входите... – он засуетился, закрывая дверь и пропуская меня вперёд, в комнату. Я несмело вошла.

– Входите, входите, Верочка. Сейчас я поставлю чайник, будем пить чай. – Он суетился со старомодной вежливостью, освобождая для меня место на ветхой кушетке, убирая какие-то вещи, газеты. Я разглядела пиджак с наполовину пришитой латкой.

Старик ушёл на кухню. Я села на кушетку и огляделась. Шторы немного задёрнуты, в комнате темновато. Посреди стоял покрытый скатертью круглый стол. За стеклом шкафа светились золотом на тёмных корешках книги, другого золота не было. О богатстве здесь ничего не говорило.

Старик внёс в комнату чашки, блюдца, розетки и расставлял на столе.

– Сейчас, сейчас, Верочка. – Он раздвинул шторы на окнах. – Чайник вот-вот закипит.

Он опять ушёл.

Я ничего не понимала. Почему он не спросил, чего я пришла, и решил поить меня чаем?

Я встала с кушетки и подошла к книжному шкафу. Поразглядывала книги. Потом обернулась. И замерла. Над кушеткой висел мой портрет.

Так он и застал меня. Поставил чайник на подставку.

– Да, Верочка. Это моя дочь. Как две капли воды похожа на вас. Да вы садитесь, Верочка...

Чуть дрожащими руками он продолжал расставлять на столе сухари, вазочку с вареньем, наливал чай.

– Вы извините мою назойливость, Верочка. Я сам чув-

ствую, что нельзя так... Но не могу не... – его голос дрогнул, и он потянулся за вазочкой. – Берите же варенье. Меня угостили. Вишнёвое...

– А где сейчас ваша дочь?

– Умерла. У меня все умерли – и дочь, и жена, и сестра. В Ленинграде. Во время блокады. Катюшу вывезли, но спасти уже не смогли. Она умерла незадолго до прорыва блокады. Вот так. Я всю войну прошёл, и хоть бы ранило серьёзно, тяжело... а они... – он махнул рукой и отхлебнул чай.

– Портрет рисовал с фотографии один художник. Уже потом. На фотографии ей одиннадцать. Но на портрете она получилась взрослее...

Он вздохнул.

– Катюше сейчас было бы... Ох, только подумать... Да... Какого-то кусочка хлеба им всем не хватило... Верней, не хватало. Каждый день. А сейчас хлеб часто выбрасывают... Каждый день. Не могу я смотреть на это. Собираю и отдаю одной женщине. У неё подсобное хозяйство... – Он опять отхлебнул чай и ненадолго задумался. Потом спохватился: – Да вы пейте чай, Верочка. А то кормлю вас рассказами, а вы не кушаете, не пьёте.

Я подняла голову вверх и стала разглядывать потолок в трещинах, чтобы слёзы закатились обратно в глаза. Они не закатывались, но старик опять задумался и не смотрел на меня. Слёзы скатились в остывший чай...

Когда я вышла во двор, меня ждали все.

– Ну, даёшь, Верка, – больше часа, – сказал Петька.
Все уважительно смотрели на меня.

– Ты выиграла. Выигрыш! – Петька поднял руку. – Шкурка твоя!., шкура... В смысле, кожа, да?

– Ладно, не надо. – Мне почему-то расхотелось получать приз. И книгу-то я читала.

– Чего не надо? Неужто вчера подарили, купили или р-раз – появилась! Не было – и есть! Как из воды – цунами – р-раз – и поднялась волнища!..

– Вот-вот... Как цунами.

Бегущая строка

Рассказ

Дома всё, как раньше.

Почти свежие тогда газеты (лежат, как лежали) стали грудой макулатуры; фруктовый сок подёрнулся белой ряской, хоть я и поставил пакет в холодильник; на электронных часах прерывисто мерцает нелепое время, наверное, когда я отсутствовал, отключали электричество.

Тине я звонил из аэропорта. Телефон не отвечал, как и сейчас. Когда она скажет: «Алло», я положу трубку и приеду. Я скажу: «Привет, Тина. Как жизнь?»

Обморок? слёзы? Тина и обморок. Тина и слёзы. У меня не настолько буйная фантазия. Как они меня все встретят? Я не представляю никак.

– Мой же руки, – говорит мама и вешает на крючок за петельку полотенце. Рядом висит тоже свежее.

Да, конечно. Мама не смотрит телевизор, почти не читает газет, редко слушает радио. Внешний мир не очень её интересует. Превалирует внутренний. Контакты с внешним – через Костика, через Вику, через меня. Маму волнует моё здоровье, особенно – что я много курю (совсем немного), она достала какие-то таблетки, чтоб курить не хотелось. Они лежат у меня в кладовке.

– Мой же руки, – говорит мама.

Я не голоден. Я ел в самолёте. Ел в Сочи. Ел в Черновцах. Везде, где были посадки. Я не хочу никого обижать, особенно в такой день.

Если я начинаю есть, когда не хочу, то скоро забываю, что не хотел. Мама сидит напротив, подперев голову рукой, и внимательно смотрит на меня. Я основательно разгрузил холодильник.

– Ты что-то похудел. Неприятности на работе?

– Нет.

– Ты давно не виделся с Викой? – утвердительно-вопросительно говорит мама.

– Я только из командировки.

– Да, я помню, ты говорил. Она у подруги на даче. Телефона там нет, звонит раз в день с почты. Сегодня уже звонила.

– Давно она там?

– Уехала сразу после тебя.

Значит, Вика тоже не знает. Обычно она внимательно следит за моими передвижениями и контролирует сроки прибытия. Не только из-за сестринской любви, бурно выражаемой. «Что ты мне привёз?» – весело кричит Вика, открывая чемодан. Тина себе такого не позволяет. Вика первая подняла бы переполох.

– У Вики скоро день рождения. Что бы ей подарить? Она

такая модница. На днях забегал Костик.

Я завидую. Ко мне сын вот так запросто не забегает.

– Вылитый ты в четырнадцать лет.

Я прикидываю, сколько на свете людей, которые помнят меня в четырнадцать лет.

Я звоню Тине. Телефон, наверное, отключён или не работает. Тина не отключает телефон. Значит, не работает. Или её нет дома.

Лучше сначала позвонить по телефону, а потом звонить в дверь.

Тина и обморок. Я не представляю Тину в бездействии. Вообще-то её имя Тинатин, но все называют – Тина. Даже студенты. «Тина Георгиевна». Студенты сейчас на каникулах. Я не представляю – Тина читает лекции в строгом костюме с гладкой причёской. Я вижу её смеющейся, с распущенными волосами, в джинсах и свитере.

«А они не представляют меня такой. Пусть они знают меня той, а ты – этой».

Когда я впервые её увидел, она сидела на парапете и срывала кожуру с апельсина.

У Тины дом «А», здесь – и «Б», и «В», и без буквы, а вот «А» я не нахожу. Мы всегда встречаемся у меня. Мы оба не хотим тратить время и силы на развод. У Тины с мужем нормальные отношения. Он установил ей стеллажи. Она ходила к нему в больницу. Тина говорит: «И разойтись можно по-человечески». Я говорю: «Хорошо, что вы живёте раз-

дельно». Тина соглашается, что разойтись и остаться вместе сложнее. Мы с женой тоже живём отдельно, но есть проблемы. Возможно, потому, что есть Костик. У Тины детей нет. Если бы она захотела, я бы, наверное, женился. Сначала развёлся. А потом женился. Я не представляю Тину женой.

Вот и «А». Возле подъезда телефонная будка. Вхожу. В углу валяется вырванная трубка.

Я поднимаюсь на четвёртый этаж. Её квартира. Звоню. Дверь без глазка, без дерматина, ни под орех, ни под дуб. Если бы краска не облезла, можно подумать, что с дверью ещё ничего не успели сделать. Только въехали и ещё не успели. Я звоню долго. Тины нет.

Ей нравится приходить ко мне домой. Входя, она улыбается, встряхивает головой, разбрызгивая шпильки, и идёт в ванную.

Мы не обманываем друг друга. Когда нам надоест, мы расстанемся, так говорит Тина. Когда мы с ней уехали, я думал, что мы впервые будем вместе в городе, где никто нас не знает.

Опять звоню в дверь. Жду. Звоню.

Ждать Тину? ехать к Гвидо? или на работу?

На работе остался материал, который никто, кроме меня, не сделает. Он должен пойти через неделю. Я скажу: «Как вы тут без меня?»

Виген, наверное, начнёт заикаться. Он чуть что – начинает заикаться. Как тогда, когда я увидел, что он у меня кое-

что изменил без моего ведома. Я сказал ему, как сказал бы Костику. Костику я такого не говорил. Я вообще мало с ним говорил. Сейчас, когда мы видимся, я удивляюсь, что у меня взрослый сын, и думаю, что ему сказать. Своего отца я не помню.

Гвидо тоже знал, когда я должен вернуться. Может, он возил Тину в аэропорт. Тина любит встречать – «И не люблю провожать. А ещё больше не люблю оставаться». Гвидо часто подбрасывал её, если она меня встречала. Но возвращались мы обычно без него.

«Может, это твоя самая большая удача».

У Гвидо на это чутьё, как у Ренцо на материал. «Это не пойдёт», – сказал он мне тогда, и вместо моего пошёл материал Вигена. Я только подумал, что впервые Ренцо ошибся. Виген талантлив. Но в том его материале не было ни ума, ни сердца. Только рука. Хотя рука Вигена тоже не мало. Когда стало известно, что меня сняли – впервые, Виген подошёл.

– Я же не виноват. Мне ваше больше нравится, – сказал он, заикаясь.

– О чём ты? – сказал я.

Я подумал, что об остальном и так будет известно, а сооружённые только на время митингов туалеты, и переносные кухни, и митинги, хотя правительство ушло в отставку, только после работы или в выходные – об этом не узнают. Ренцо назвал это перегруженностью бытовыми и техническими деталями. Если мы впервые были с Тиной вдвоём, и я заметил

и запомнил, это кое о чём говорит. Хотя говорить такое Ренцо я не собирался. Ждали моих протестов, не все считали, что Ренцо прав; материал Вигена ещё не утвердили, я мог подсуетиться. Я не стал суетиться потому что это был материал Вигена.

Ждать Тину? ехать к Гвидо? к Вигену, Ренцо, ребятам?

Гвидо близко, от него я позвоню Тине опять.

«Учитесь, как надо находить слова». Ренцо – обо мне.

Слов у меня нет. Я не знаю, кто удивлён больше – Гвидо мной или я им. Он проходит в комнату, садится верхом на стул, охватив его руками – спиной ко мне, говорит: «Ты...» У Гвидо кто-то есть или был (в смысле – была). Через спинку стула переброшена косынка. Не одна же такая.

– Я пойду, – говорю я и поворачиваюсь.

– Постой, – говорит он. Гвидо встаёт.

Из ванной выходит Тина. Мы стоим на одной прямой – Тина – в дверях ванной, я – в коридоре, Гвидо – в комнате.

Я вижу – Тина сидит на парапете и очищает от кожуры апельсин.

– Но ты же разбился... – шепчет Тина.

Моё увеличенное фото в траурной рамке. Рядом мокнут гвоздики. Все уже разошлись, кроме Ренцо.

– Я очень рад, что с тобой всё в порядке, – говорит он. – Ты даже не представляешь, как я рад.

Я не представляю многих вещей.

– Я очень рад... – повторяет Ренцо. Он искренен и смущён.

– У вас что-то изменилось? – говорю я.

Он кивает. Они все очень огорчились... Нет, «огорчились» – совсем не то слово, совсем не то... Виген – тот вообще ходил как в воду опущенный. Но... «Ты же понимаешь, как у нас всё». (Я киваю). Надо сдать вовремя (я киваю), и никого не интересуется... Вот мы и решили – Виген... Его сразу утвердили, всех передвинули, трудно опять передвинуть – в другую сторону, назад сложнее, чем вперёд. Сейчас нет, но, может, со следующего года... Ты не представляешь, как ребята тебе обрадуются... Особенно Виген...

Закрывая дверь, я смотрю в глаза своему изображению.

Вечером мы с Тиной сидим в какой-то забегаловке. Официантка что-то ставит на стол.

– Даже там, когда мы были там вдвоём, ты только и думал, что о своих материалах...

– Я ещё там поняла, что мы не будем вместе... Мы с тобой совсем...

– Ты не представляешь, что со мной было, когда нас завели в ту комнату наверху и сообщили...

– Я поехала с тобой. На работе меня грозили сократить, у меня трения с... впрочем, тебе это безразлично... Я на всё плюнула и уехала, а у тебя просто пропадало удостове-

рение... Кто-то не смог, и ты предложил мне.

– Меня едва не сократили, как бы я...

– У меня краны текут третий месяц, и не работает выключатель в коридоре, – говорит она, кладёт голову на стол, задевая волосами сахар на блюде, и начинает плакать.

– Некому починить краны? – говорю я, хотя знаю, что говорю не то и краны ни при чём.

– Ты не понял, – говорит она, сразу успокаиваясь.

Она уже садится в трамвай и, оборачиваясь ко мне, спрашивает:

– А почему ты всё-таки не вылетел своим рейсом?

– Не успел всё сделать.

– Твои дела тебя спасли, – говорит Тина.

– Счастливо, Тина, – говорю я.

Я не говорю, что удостоверение для неё я еле оформил, наврав с три короба. Я не говорю, что опоздал. Я не говорю, что она была похожа на Тину.

Я увидел её, когда она почти скрылась. Я ощутил, что она прошла, как чувствуешь по движению воздуха, что окно открылось, не видя окна.

Я пошёл вслед. Она шла быстро. В тёмном плаще и косынке. Я понимал, что Тина не может быть здесь, что она – там.

Узкий коридор-спуск, образованный задними стенами домов, соединил две улицы. Когда я вбежал в подворотню, то находился на самом верху и видел весь спуск. Он был безлюден. Она никуда не могла войти. Я спустился, вышел через

вторую подворотню на противоположную улицу, прошёлся по ней, вернулся, поднялся к исходной точке и прошёл весь путь ещё раз медленно.

Когда я возвратился, я опоздал.

Я быстро всё уладил. Я вылетел на следующий день. Самолёт вне расписания и без рейса. (Фирма фрахтует, их люди закупают, потом отвозят и там продают). Перед вылетом я узнал, что самолёт разбился – обстрелян, все погибли. Самолёт без рейса и вне расписания летел с посадками – пятнадцать часов.

Я вернулся.

Я не был дома три дня. Дома всё, как раньше.

Три билета на оперу «кармен»

Рассказ

Посмотрела ему в глаза и невольно вспомнила фразу Ю. Можно было принимать её всерьёз или не принимать, но глаза у незнакомца были разноцветные. Но разве у обычных людей не бывают глаза разного цвета? Да и сомнительно, чтоб у тех... ну, у этих... короче, у них не было иных забот, как предлагать мне лишний билетик на оперу «Кармен» (на французском языке) стоимостью сто сорок гривен. Даже если бы они нашлись в моём кошельке, который я опять потеряла, у меня на этот вечер были другие планы. Так я ему и сказала.

– Планы можно изменить, в конце концов, – сказал он. – Если хотите пойти с кем-то, могу предложить и второй билетик, и даже третий. Предложить бесплатно.

«Без денег не значит бесплатно, – подумала я. – Новая разновидность ловеласов».

– Сомнительно, чтоб вы любили менять свои планы, поэтому отдаю без денег.

«Может, захочет, чтоб я продала кому-нибудь в театре какие-то вещи? Косметику, театральный бинокль, программы, а может, даже вечернее платье?»

У него не было ни портфеля, ни сумки, вообще ничего,

даже папки. Только билеты.

Нет, ничуть он не походил ни на перекупщика, ни на жулика, ни на жуира.

– Если рассматривать «жуир» от «jour», то нет, если от «jouir» или от «joug», а также «joujou», то вряд ли, но если от «joueur»¹, то, пожалуй, да.

– Я не понимаю по-французски.

– А откуда тогда знаете, что это по-французски?

– Произношение...

– Ну, произношение во французском языке – это уже много.

– Но слов-то не понимаю.²

– А разве по-русски всегда понимаете всех людей?

– Нет, конечно. – Мне начинал надоедать этот бестолковый разговор. – Но значение слов понимаю, хотя не всегда разделяю взгляды, убеждения, да и чужие желания иногда мне очень странны. А по-французски – не понимаю.

– Понимать – может, и не понимаете, но ведь говорите.

– *Franchement, je le comprends mais il ne faut pas exagérer*³, – неожиданно для себя сказала я.

– Ну вот видите. Вы себя недооцениваете.

– *Et quand-même. Mes connaissances, cela ne suffit pas, j'en suis tout à fait sûre et certaine. Il faudra maîtriser la langue et*

² jour – день; jouir – наслаждаться, пользоваться; joug – иго, бремя; joujou – игрушка; jouer – играть.

³ – Откровенно говоря, я его понимаю, но не нужно преувеличивать.

profiter de l'occasion.

– C'est bon! Bien sûr! Quels beaux projets!

– Il sera nécessaire de se plonger dans l'océan de la langue.

– N'oubliez pas seulement... Suffit.

C'est assez. Parlez russe⁴.

Я когда-то читала научно-популярную статью о женщине, которая в минуту сильного волнения заговорила на древне-еврейском языке своих предков, она и не слыхала, якобы, этот язык. Но я вовсе не волновалась, мои предки не были французами, кроме прочего, возможно, та женщина слышала тот язык. Можно, наверно, найти какие-нибудь разумные объяснения. Может, у меня редкие способности именно к французскому, которые дремали при изучении английского. Да и родственник женат на самой настоящей француженке, парижанке.

Мне захотелось сказать ещё что-нибудь по-французски, да не тут-то было.

– А если я вам предложу кое-что взамен... взамен французского? Вы вместо меня продадите – не обязательно за сто сорок гривен, по любой цене, три билета – и будете отлично знать этот язык.

– Должно быть какое-то условие, – сказала я. – Если...

– Если вы продаёте эти билеты людям, которым эти биле-

⁴ – И тем не менее. Моих знаний недостаточно, я в этом совершенно уверена. Надо будет овладеть языком и воспользоваться случаем. – Хорошо! Прекрасно! Какие чудные планы! – Будет необходимо погрузиться в океан языка. – Не забывайте только... Хватит. Достаточно. Говорите по-русски.

ты действительно нужны.

– Не хотите же вы сказать, что кто-то, кому билеты не нужны, будет их покупать, даже по низкой цене.

Он усмехнулся и посмотрел на меня своими разноцветными глазами.

– Вот билеты. Первый ряд амфитеатра. Отличные места. У меня мелькнула мысль о каком-то подвохе – подставных лицах, фальшивых билетах или деньгах.

– Можем подойти к кассе и проверить билеты, – сказал он. «Почему бы и нет? – подумала я. – Там же в кассе сразу и продать можно».

– Деньги, конечно, остаются вам. Нет-нет, не спорьте. Вы всего лишь окажете мне услугу. Услугу за услугу. Я вас буду ждать на прежнем месте.

Я не успела уточнить, что за «прежнее место», как он спустился по ступенькам, вышел на улицу и затерялся в толпе.

Я спокойно стояла, держа билеты в руках, но никто не подходил и не спрашивал, почём билеты, хотя у кассы стояло довольно много людей. Меня осенило: «Почему не сдать билеты обратно в кассу? Своего рода продажа – сдать билеты, получить деньги. И люди, которым не нужно в оперу, не будут стоять в очереди за билетами. Так что их купят те, кому они нужны».

Я выстояла очередь, но когда спросила у кассира, можно ли сдать билеты, вообще-то не сомневаясь в ответе, она обрушила на меня гнев праведницы, которую склоняют к

нечестивым поступкам. «Вон сколько народу стоит, идите к ним».

Я постояла ещё немного и сообразила, что стремятся купить дешёвые билеты – две студентки спрашивали галёрку, пожилая женщина показывала удостоверение ветерана войны и просила билет подешевле, седой мужчина тоже показывал какое-то удостоверение и спрашивал, где найти администратора.

Услышав, где его можно найти, я отправилась на поиски. Они успехом не увенчались. Администратор откуда-то только что вышел, тут только что был, а сюда должен был прийти с минуты на минуту, но она никак не наступала.

Стрелки часов приближались к семи. Надо побыстрее продать. Я опять вернулась к кассе. Количество людей у окошка не уменьшалось. Кассир кричала на всех сразу и на каждого, кто оказался у окошечка.

Пожилая женщина с удостоверением ветерана войны всё ждала у кассы, а кассирша всё кричала. Я слушала, слушала и подошла к женщине.

– Если вам нужен билет, могу продать, – сказала я, сглотнув слюну.

Она удивлённо посмотрела на меня и спросила, сколько стоит билет.

– Я продам, за сколько сможете купить.

Она посмотрела на цифру «140».

– У меня таких денег нет даже на лекарства. Я не могу

уплатить больше пятидесяти гривен. Продайте кому-нибудь другому.

– Я продаю вам. Давайте деньги.

– Не может быть, зачем же... – залепетала она.

Я оторвала один билет и протянула ей.

– Ох, что вы... спасибо...

Она начала искать кошелёк в сумке, вынимать деньги.

– Билетики продаёте? Почём? – спросил кто-то.

– Сто сорок гривен.

– Ого! Загнула!

– Это не я загнула, это реальная стоимость билета. На некоторые спектакли на хорошие места билеты столько и стоят.

– Скажите, а на какие спектакли какие цены? – спросила меня одна из девушек-студенток.

Я ответила. Столько простояла у кассы, что вызубрила едва не наизусть листочек с трафаретами цен.

Очередь постепенно сместилась от окошечка кассы ко мне.

– Всё равно дорого, – сказал мужчина.

– На концерты поп-музыки билеты куда дороже, а разве можно эстраду сравнить с оперными певцами. Это же оперное пение, петь арию хоть баритоном, хоть сопрано, хоть тенором это же не шипеть или сипеть в микрофон и приплясывать – когда в такт, когда – нет.

Женщина наконец достала деньги, взяла билет и начала

меня благодарить, желать здоровья и счастья мне и моим близким.

– А мне не продадите билетки на другие места? Продайте бедному студенту... – сказал паренёк в кепке рядом.

– Девушка, а для меня не будет подешевле, я двадцать могу дать.

– А я дам тридцать, но чтоб на второе место вы сели.

– А я дам тридцать пять, если сядете ко мне на колени....

– А я дам тоже тридцать, но шутки в сторону, а на второе место пусть садится любой... или любая...

– Я вас очень, прошу, – сказала женщина, купившая билет, – должна моя подруга подойти, если вы не продадите...

– Хорошо, я немножко подожду.

Вокруг меня образовалась очередь, я стояла с двумя билетами в руках, было без десяти семь.

– А ну, марш отсюда! – уборщица прошлась шваброй с тряпкой едва не по ногам стоящих. Все оттеснились к стенкам, я осталась посредине. Уборщица плеснула немного воды из ведра мне на ноги. – Уходите, кому говорю!..

Я вышла на улицу. Паренёк в кепке, шёл за мной и просил билетки, подешевле. Подошла женщина, стала рядом с ним. Выяснилось, что это его мать, что они приехали сюда на три дня из Мелитополя, никогда не были в оперном театре, Проспера Мериме не читали, Бизе не слушали.

Люди, изгнанные уборщицей из здания, выходили на улицу, окружали меня и спрашивали, за сколько я продам билет.

Женщина-ветеран сказала: «Я сейчас подойду».

Всё это начинало действовать мне на нервы, к тому же было без пяти семь. Я вынула билеты, сунула в руку пареньку и сказала: «Давайте деньги, сколько сможете».

Он растерянно держал билеты и думал. Мать, очевидно, куда-то отошла, денег у него не было. Вдруг она появилась.

– Я здесь смотрела в одном месте. Их продадут, но после начала спектакля. Жутко дорого.

Он показал ей билеты.

– Сколько вы за них хотите?

– Столько, за сколько вам предложили другие билеты минус пять.

Она смотрела на меня и молчала.

Женщина с удостоверением ветерана схватила меня за руку. – Вы ещё не продали билеты? Я привела вот подругу. Пятьдесят гривен – вас устроит? Только она с внучкой. – Она обратилась к элегантно одетой даме с высокой причёской, вернее, это была стрижка до плеч с высоко взбитыми волосами. – Ты будешь сидеть в хорошем месте, не волнуйся, это напротив сцены, первый ряд.

– Пятьдесят гривен вас устроит, да? – повернулась она ко мне и отвернулась к даме. – Да не волнуйся, будет хорошо видно.

Я вырвала билеты из рук парня и протянула даме. Она внимательно осмотрела их со всех сторон и небрежным жестом протянула мне пятьдесят гривен.

– За два, – сказала она и отошла.

– Семь часов, – со скучающим видом сказал незнакомец.

Люди отхлынули, и вокруг нас образовалась пустота.

– Я продала билеты, – сказала я. – За сто гривен. Я могу опять говорить по-французски? Я управилась до семи часов.

Он с прежней скукой разглядывал бюст Шевченко, афишу, булыжники на мостовой. Затем посмотрел на меня. Разница в цвете глаз показалась мне ещё заметнее.

– До семи управились, – вяло сказал он. – Только кому вы их продали?

– Тем, кому они были нужны – женщине, ветерану войны, которая не могла купить такой билет, её подруге и внучке подруги. Нужно приобщать детей к искусству.

– Так-то оно так, – устало бросил он.

Он как будто изнемогал, выдохся от тяжёлой работы. Я не знала, что мне делать.

– Я всегда считал, что власть портит людей. Куда хуже денег. Самая её капелька. А деньги не портят, нет, если, разумеется, ими разумно распоряжаться. – Голос у него стал бодрее.

– Как говорят у вас в анекдотах, портят не деньги, а их отсутствие, но, может, не так уж это и неверно. Женщина-ветеран – допустим, согласен. Иначе она бы не попала на оперу, на сегодняшнюю оперу. Эта опера, да ещё на французском, идёт крайне редко, сегодня исполняют только потому, что юбилей у певца, который поёт Хосе. С ней всё понятно,

с ветераном. А её подруга? Так не одеваются люди, которым не на что пойти в театр. Дело даже не в одежде. Подъехала на такси. У неё были контрамарки на дешёвые плохие места, она их тут же продала и выиграла на этом.

– Я же не знала. А внучка?

– Внучка ненавидит оперу, ей пообещали купить новое платье, лишь бы сплавить её на весь вечер с бабушкой. У них тоже денег куры не клюют.

– Да откуда я могла это знать?

– Вас не передёрнуло, когда она подала вам деньги? Подала вам, как подают милостыню. Провернула выгодное дельце, позволила подруге себя упросить. Подруга ей кое-чем обязана, потому и хотела хоть как-то отблагодарить знакомую, хоть посадив на отличные места по низким ценам, вот и уговаривала. А та якобы нехотя согласилась, да ещё швырнула вам деньги – бери, коли так просишь, а свои дрянные места не продала дешевле, не продала даже, за сколько покупают в кассе эти места, хоть и опоздала на начало.

– Я же не ясновидящая.

– А почему вы не продали билеты пареньку? Возможно, это был его единственный шанс послушать оперу и увидеть оперный театр – впервые в жизни. Может, через три-четыре года, если он приедет в столицу, ему будет интересно пить пиво в скверике, а не стоять у входа в Оперный театр. Всё нужно делать вовремя. А почему не продали билеты девочке-студентке? Почувствовали своё могущество? Что делает

капля власти... Почувствовали себя нужной, услышали, что вас о чём-то просят, и стали крутить носом и выбирать. Отдали бы бесплатно два билета и дело с концом.

– Вы же сказали – продать?

– Но не сказал, за сколько. Один билет вы уже продали за пятьдесят гривен, если бы отдали два других бесплатно, каждый билет получился бы примерно за семнадцать.

– Я не сообразила.

– Но сообразили прочитать лекцию о том, что опера непреходяща, в отличие от эстрады.

– Мне бы хотелось всё исправить, – сказала я. – Даже без французского. Пусть этот парень с мамой пойдут вместо тех, кому я продала.

– Ну, знаете, исправление – это совсем другая парафия.

«“Парафия” – это от “parapher” или нет», – подумала я.

Он улыбнулся.

– Очень хотелось бы, чтоб они пошли, – повторила я.

«Или от какого-то другого слова?»

Он исчез. Словно не было.

Если бы не двадцать пять гривен (остальные куда-то исчезли), я бы подумала, что всё мне приснилось. Или деньги каким-то образом оказались у меня в руке, а остальное – пригрезилось? Может, они фальшивые? исчезнут, как только я стану ими расплачиваться?

Чтобы проверить, я спустилась вниз и купила коробку

конфет в кондитерском магазине «Українські ласощі».⁵ Конфеты, правда, оказались не украинские, назывались «Мерсі». Так мне захотелось.

Ни деньги, ни конфеты не исчезли, а конфеты оказались очень вкусные. Впрочем, я вообще сладкоежка. Половину конфет я ещё не съела, время от времени открываю коробку и смотрю на них. Они не исчезают, не появляются, вообще ничего таинственного с ними не происходит. Вкусные конфеты с трюфельной, шоколадной, ореховой, разной кремовой начинкой, без начинки, из молочного, горького шоколада, белого шоколада, ассорти, пралине... Вкусные – и всё тут! Словом, мерсі...

⁵ «Українські ласощі» (*укр.*) – «Украинские лакомства».

Дебют

Повесть

Звонок.

За дверью никакого движения.

Молчание.

Пронзительный, длинный, непрерывный звонок в течение минуты.

Кажется, какой-то шорох.

Она приникла ухом к двери, прислушалась.

Точно, шаги. Остановка. Опять шаги. Замерли. Будто кто-то раздумывал, подходить или не подходить.

Она ещё раз сильно нажала на кнопку.

Замок щёлкнул, дверь резко открылась.

Мужчина.

– Вы могли бы переночевать у меня?

Он едва не захлопнул дверь, но передумал в последний момент.

– У вас или с вами?

По её губам скользнула слабая улыбка.

– У меня четырёхкомнатная квартира. В одной комнате я сплю, выберете любую из трёх... из двух.

– Кто спит в третьей?

– Там умер один человек. Который снимал эту квартиру

до меня.

Сегодня новая жиличка из квартиры напротив попросила переночевать у неё. Что-то говорила о каком-то своём знакомом, он жил здесь до неё и что-то с ним случилось в одной из комнат. Он умер чуть ли не в тот день, когда она внесла предоплату хозяйке и договорилась о скором переезде.

Глупо... Мало ли кто где умер от сердечного приступа или чего-то в этом роде. Хорошо, что быстро. «Если смерти, то мгновенной», – как поётся. Пелось, вернее, во времена чьей-то молодости и во время моей учёбы в школе по радио. Сейчас поётся другое: «Девчонки, девчонки, короткие юбочки», «Быстренько разденься и скорей ложись», но «ты всё делаешь не так, а я дурак, а я простак», и вообще «вот такая вот зараза девушка моей мечты»... Я одно время не ездил на работу в развозке по своему маршруту, потому что очень часто попадал в ту (или в те?) из них, где без конца крутили эту чушь, непонятно, что именно – модные эстрадные или блатные песни. Пришлось выходить из дому на четверть часа раньше, чтоб успеть в не слишком переполненный автобус.

Лариса увидела в этом желание уходить пораньше от неё и дочки. Как будто я всё делаю не ради них. Конечно, мне интересна моя работа. Неужели нужно ходить на работу, как на каторгу? Интересна диссертация, которую я заканчиваю. Конечно, органическая химия не является предметом увлекательной беседы с людьми, которые далеки от соединений уг-

лерода и синтеза витаминов и гормонов, поэтому, когда жена спрашивает, чем я занят сейчас, что уже написал, много ли работы, я говорю «Всё в порядке». Я столько раз ей объяснял, как нужно себя вести... Я же не спрашиваю, какие рецепты она выписывала сегодня и кому продлила больничный, а кого отправила на работу. Да сейчас и не спросишь – почти полгода назад родилась дочка, и сейчас Лариса выходит разве что в магазин. Или на прогулку с Аннушкой.

Выходила, вернее. До того дня, когда сказала, что она от меня уходит. Я был уверен, что у неё плохое настроение. Говорят, что жены могут поскандальить, накричать, устроить бурную сцену с выяснением отношений... Лариса молча собиралась и уходила. Когда мы только начали жить вместе, я ничего не понял – куда она пошла, с кем, зачем... Пару раз за ней следил. Просто ходила по улицам, иногда останавливалась, разглядывала долго и внимательно что-нибудь, всё равно что – кучу строительного мусора или витрину обувного, клумбу с цветами или огромную лужу. Никуда не заходила, ни с кем не говорила, не присаживалась на скамейку; походив так час, два, три, иногда и дольше, возвращалась домой. Поэтому я спокойно выслушал в коридоре, что она уходит, только удивился, что предупреждает заранее. Я пошёл на кухню разогреть что-нибудь из еды.

Уже одетая, она зашла и сказала, что уходит.

Рагу было совсем горячее. Он положил себе на тарелку и

сказал: «Не приходи поздно, вот-вот дождь пойдёт».

«Ты не понял, Фил. Я уйду».

Только тут он отметил необычную мягкость в её голосе. Устала, подумал он, всё время не высыпается.

– Иди, конечно, иди. Я присмотрю за малышкой, если она заплачет. Кормить же её не нужно? Только зонтик возьми с собой.

«Ты ничего не понимаешь, Филипп. Я уйду от тебя. К другому. Надеюсь, что мы оба будем счастливы, по-своему. Аня пока у мамы».

Он вбежал в комнату, где стояла кровать. Ни кровати, ни одежек, ни пелёнок... Только теперь он внимательно осмотрел коридор и увидел, что коляски тоже нет. Зато стоял чемодан, большая дорожная сумка, какой-то пакет...

Она что-то ещё говорила, но он её не слушал.

– Иди проспись. Ты сколько ночей не высыпаясь, всё время к дочке встаёшь. Пусть она побудет у твоей мамы день-два...

Она опять повторила, что уходит от него навсегда. «Ты никак не хочешь понять...»

Он не мог ничего понять.

Он был ошарашен, он ничего не хотел понимать, вспылал и наговорил ей чудовищных вещей. Как должна себя вести воспитанная женщина. Молодая жена. Хорошая мать... Не замыкаться в себе и бродить неизвестно где, а спокойно высказать свои возражения, внимательно выслушать другого...

Он не сказал ничего нового, он повторял это не раз, но он не должен был говорить этого сейчас. Не должен. Но продолжал, что «воспитанная интеллигентная женщина не позволит себе никаких сцен и истерик...» Да она и не «позволяла» – не то слово, она их просто не устраивала, возможно, не любила, а может, не умела или не хотела...

Он вдруг почувствовал одиночество, хотя она была ещё здесь. Она взяла приготовленные вещи, вышла и закрыла за собой дверь. Он тупо смотрел на дверь и на её пальто, которое она не взяла.

Сколько он так просидел? Час? два? Потом он пошёл на кухню и стал бросать всё подряд в мусорник, а когда заполнился, – в унитаз. Содержимое кастрюли и тарелок, сковородки и сахарницы...

Он остановился, увидев пятна крови на белой тарелке. Он обо что-то поранил руку. Пошёл в комнату, сел в кресло и начал нажимать на кнопки пульта, переключая программы. Южные пейзажи сменялись полуголыми женщинами, на смену им шли соревнования по водному поло и выступления политиков... фильм с какими-то чудовищами, балет, футбол, эстрада... Он пытался фиксировать внимание на пляшущих картинках, потому что боялся оглянуться и увидеть пустую квартиру. Но всё же оглянулся – и увидел тарелку с рагу, которую он почему-то принёс тогда в комнату и поставил на диван. Он придвинул её к себе. Даже остывшее, рагу было вкусным.

Куда она пошла? К кому? С кем она могла познакомиться, выходя из дому только в детскую поликлинику и магазины? Может, была знакома раньше? Ей часто звонили мужчины – знакомые, сотрудники, бывшие сокурсники, соученики... Иногда к ней приставали на улице, один раз она звонила из автомата, чтобы он её встретил... Но чаще говорила: «Приятно побеседовали с незнакомцем».

Он сам познакомился с ней в троллейбусе. Закомпостировал талончик. Вышел вместе с ней на конечной, хотя собирался выйти раньше. Ни к чему не обязывающий трёп, обмен шутками, мнениями о нашумевшем фильме; он предложил пойти сейчас в кино, она ответила, что торопится в институт и не хочет пропускать лекции; он не стал настаивать, проводил её до входа; узнав, когда оканчиваются занятия, устроился на противоположной стороне улицы и стал ждать. Институт оказался в живописном уголке, рядом музей, церковь, сад. Через полчаса она вышла с группой студентов. Он подождал, пока она дошла до угла, с кем-то попрощалась, кому-то что-то записала в блокнот; когда она осталась с тремя девушками, он подошёл поближе... Она попрощалась с ними, подошла к нему и сказала, что одну лекцию перенесли, одну отменили, преподаватель в командировке...

Он поставил на пол пустую тарелку.

Ещё в троллейбусе ему стукнуло в голову, что на ней он не прочь жениться. Раньше ничего подобного ему в голову не приходило. Через неделю он не представлял, что она не

будет его женой.

Возможно, когда я встретил её, в ней впервые встретил женщину, которую полюбил. Именно полюбил. Раньше мне казалось, что женщин можно только желать, любить физически, получать от них телесное удовольствие, сейчас я понял, что некая грань отношений мужчины и женщины была скрыта от меня, а за ней оказалось пространство, огромное, многомерное, неожиданное... Я не знаю, как это получилось.

Он понимал, что она не первая и не единственная для него женщина, как и он для неё. Понимал, что не может назвать её первоклассной любовницей, некоторые физические реакции протекали у неё медленнее, чем ему бы хотелось, к ней не подходили определения нежной или зажигательной, инициативу она проявляла очень редко, однако только с ней банальные действия тела получили духовное наполнение. Он, несмотря на физическую усталость, ощущал потом не разбитость и опустошённость, а глубокое наполнение каким-то новым переживанием, чувством, знанием, исключительно духовным, как если бы он прочёл книгу нового для себя автора, написанную в необычном, не встречавшемся раньше стиле, увидел фильм и обнаружил новую манеру игры актёров и другой стиль постановки... И ещё – он знал: как бы ни сложилась его жизнь, как бы ни сложились их отношения, это никогда не уйдёт из его жизни, независимо от того, как она сложится.

Что там показывают?

Делегация иностранных послов возлагает цветы, парочка обнимается, Германия утопает в дождях, Марчелло Мastroяни с задумчивой полугрустной улыбкой смотрел на женщину, которая расхаживала по кругу, снимая с себя одежду; в кружок сидели мужчины и женщины в вольных позах, разные выражения лиц, но лицо Мastroяни выделялось среди других. Лариса смотрела фильмы с его участием не один раз и считала незаурядным – не просто смазливый щёголь или неотразимый красавец, «забываешь о внешности, когда он играет; и что значит талант – лицо, поза, взгляд, улыбка, смех, жесты выражают куда больше слов, да в его словах особой игры и нет, она – в нём самом, внутри».

Я опять посмотрел на Мastroяни, но сейчас показывали женщину, которая перестала ходить и лежала на полу, очевидно, уже почти раздетая, но укрытая мехом; она извивалась под мехом, а ей кричали, что пора снимать мех...

Я снял трубку телефона, чтобы позвонить теще и спросить, как Аннушка. Когда набирал номер, случайно глянул на часы. Четверть первого. Положил трубку...

На экране появилось лицо Марчелло Мastroяни, который с грустной полуулыбкой воздевал руки к небу и жестами пытался объяснить девушке, на расстоянии что-то кричавшей ему, что из-за шума волн и ветра ничего не слышно.

Он выключил телевизор. Снял с вешалки её пальто и убрал подальше в шкаф. Нашел на полу тарелку и заставил себя её вымыть... Он видел когда-то такие квартиры – одна тарелка с остатками еды, сиротливый пустой стол, одинокая неубранная постель... Одиночество – вот что угнетает его сейчас. Не потеря женщины, не отсутствие дочки, не пустая квартира, нет; одиночество, породившее незащищённость – вот что стало самым страшным. Он всегда соотносил отсутствие женщины с физическими ощущениями, сейчас всё сосредоточилось в другой сфере, остальное ушло, и чувство одиночества давило нестерпимо.

Он опять нажал на кнопку. Фильм кончился. Он выключил телевизор – теперь окончательно, решил он, и взял черновики неоконченной части своей диссертации. Он несколько раз тупо перечитал их, едва что-то понимая. Он помнил, что мысли были – он уже наметил окончание, но исчезли.

Филипп сидел в кресле, держал в руке черновики и смотрел в чёрный экран. Откуда-то доносились её слова: «Не живи исключительно в своём мире, ты обитаешь в ирреальности... Посмотри на других...»

Я непонятно как прожил до конца недели. Целых четыре дня я был совершенно один. В субботу я опять вышел на работу. В этом не было ничего удивительного, я часто ходил на работу по выходным, иногда приходил ещё кто-то. Довольно часто я занимался диссертацией, обычно по непосредствен-

ной работе «хвостов» и пробелов не имелось. Два или три часа я думал, читал свои записи, пытался анализировать... Затем собрался и ушёл.

По дороге я зашёл в два супермаркета и обошёл их, ничего не купив, бродил по базару, разглядывал написанные от руки ценники на продукты, подолгу стоял то перед вёдрами с цветами, то у лотков с фруктами, то перед витриной с живой, солёной и охлаждённой рыбой. В конце концов, зачем-то купил селёдку. Лариса любила селёдку, вообще любила... Почему – любила? Любит и сейчас сладкое и солёное. Селёдку и шоколадные конфеты, изюм и солёные огурцы, инжир и маслины... Могла после пирожного хрустеть солёным огурцом. Пока кормила Аннушку, старалась не есть ни конфет, ни селёдки. А сейчас потихоньку вернулась к своим лакомствам, ведь кормит раз или два в сутки...

Двери выставочного зала были открыты. Объявление приглашало посетить в Доме учёных бесплатную выставку рисунков и вышивок врачей – ветеранов труда. Я зашёл и долго ходил от одного экспоната к другому и даже обратил внимание на несколько вещей.

Он медленно брёл домой. Встреча пугала. Завтра выходной, придётся быть там одному целый день.

Около двух ночи он заставил себя лечь в постель.

Утром проснулся от капель дождя, которые падали на лицо. Он не мог сообразить, где он, не заснул ли на скамейке

в парке или во дворе. Несколько минут лежал неподвижно; капли падали; тут он вспомнил.

«Почему вода?» – подумал он, глядя на потолок.

Он посмотрел вниз – на полу растекались лужи, сливаясь в одну. Ему стало любопытно, он вышел в коридор, и ноги выше щиколотки погрузились в стоячую воду.

«Как же там? «в сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок дней и сорок ночей», кажется так, – мысленно процитировал он. – Может, пора строить ковчег?»

Вскоре выяснилось, что залила соседка с пятого этажа, а, поскольку соседи с четвёртого этажа продали квартиру и забрали с собой из неё всё, включая раковины и ванну, то вода спокойно текла и залила даже полуподвал, который выкупили под ресторан и где молодые ребята из стройфирмы проводили заключительные работы по окраске и побелке. В дверь постоянно кто-то звонил, приходил, спрашивал, просил закрыть кран в абсолютной уверенности, что залили всех они – на четвёртом и пятом этажах никто не отвечал.

Филипп, хотя ему было всё равно, взял, в конце концов, ведро и черпал воду, потому что тряпкой не вытереть. Входную дверь он оставил открытой, и люди шли всё воскресенье. В понедельник он позвонил на работу и сказал, что в понедельник его не будет – комиссии из ЖЭКа, начальник ЖЭКа, люди из ремонтного бюро, экспертная комиссия оценивала ущерб, поскольку фирма, выкупившая полуподвал,

требовала возмещения убытков от хозяйки, которая скупила почти весь пятый этаж и сдавала иностранцам, сорвавшим какой-то фильтр, что не мешало им крепко спать и не слышать звонков в дверь. Хозяйка отдыхала на море, но застраховала все нижние квартиры на случай нанесения ущерба по её вине, поэтому комиссии и эксперты ходили по всем квартирам, лазали по всем углам и составляли акты.

Это раздражало бы Филиппа, если бы Лариса с ребёнком по-прежнему жили здесь, а теперь это даже отвлекало его от назойливых мыслей и не давало почувствовать одиночество. Потом Филипп решил, что если бы Лариса и Аня были здесь, то его бы это не особенно коснулось – он бы с утра уходил на работу и возвращался, как обычно, поздно, когда все эксперты и начальники ЖЭКов уже не ходят смотреть чужие квартиры, а отдыхают в своих.

Недели через две или три хождение прекратилось, вода высохла даже на паркете, хотя он немного вспучился, «встал на дыбы», сказал себе Филипп; «паркет опустится, когда полностью высохнет, потому что положен по правилам», сказали Филиппу паркетчики. «Обсохла поверхность земли», – сказал себе Филипп, но не мог продолжать, ведь из ковчега на горах Араратских должны были выйти и жена, и сыновья, и жёны сынов, но жена и дочь Филиппа отсутствовали.

Так я прожил три месяца. Целых три месяца. Оказывается, это очень много. Я ходил на работу, по привычке что-то

делал, по привычке не очень плохо, и даже кое-как состряпал конец диссертации, который слушали и после выслушивания предложили доработать. Несколько раз звонил теще и тестю, хотел повидаться с дочкой, но к телефону никто не подходил. Я вспомнил, что лето они обычно проводят на даче, отпуск у них полтора месяца, да оттуда и на работу добираться им недолго. Ехать на дачу без предварительного звонка я не решался, но в один день увидел среди кинофайлов по телевизору отрывок из «Брака по-итальянски», где Марчелло Мastroяни и Софи Лорен расставались, и решил поехать в ближайшие выходные.

В пятницу утром я сказал себе: «Завтра». В пятницу вечером соседка попросила переночевать у неё. Что ж, переночую. Непохоже, что она хочет завлечь мужчину, по-моему, она боится оставаться ночью одна... Теперь это было знакомо. Я вспомнил, как три-четыре раза меня изводили звонками ночью приятели и приятельницы, желая побеседовать; один раз Лариса попросила остаться с ней вечером дома, но у меня была назначена встреча, я не мог не пойти. Тогда я подумал – вполне обойдётся без меня, а теперь знаю, что пустой разговор по телефону иногда значит очень много. Когда он значит. Для конкретного человека в определённый момент.

В восемь вечера я позвонил в дверь.

Женщина открыла почти сразу. Без косметики, без ухищрений с причёсыванием волос, в простом платье она выгля-

дела старше, чем показалась мне впервые. Она обрадовалась, что я пришёл.

– Выберите любую комнату.

Я вспомнил, что она говорила о двух, в какой-то умер человек и она не хотела туда меня пускать. Словно отвечая на мой немой вопрос, она сказала:

– Всего четыре, в одной сплю я, в одной умер мой знакомый, но если вы захотите в одной из этих...

Она пожала плечами.

– Я ещё не стелила постели, так что всё равно.

– Вашу комнату я даже не буду смотреть, покажите мне ту, где жил ваш приятель.

Она ещё раз пожала плечами.

– Вообще-то это приятель мужа.

Мы прошли из коридора вглубь. Обстановка всей квартиры была необычной и несовременной. На стенах висели картины, гравюры, гобелены, кое-где на полу стояли огромные вазы или кадки с цветами, одна-две статуи; с потолка свешивались бархатные портьеры не всегда в тех местах, где находились окна; неожиданно появлялись огромные зеркала; рояль, гитара, скрипка словно приглашали подсесть к ним и опустить руки на клавиши, коснуться смычком или рукой струн...

Наконец она распахнула дверь:

– Вот.

Такая же необычная. На стенах картины, несколько бю-

стов то ли мыслителей, то ли деятелей культуры, необычный двухцветный паркет – чередование тёмных и светлых плит, большое зеркало от пола до середины стены, рядом кровать с огромной плюшевой собакой на ней, в центре небольшой столик. На нём я с удивлением обнаружил шахматную доску с расставленными фигурами. Но когда я хотел придвинуть её к себе, я удивился ещё больше – она не двигалась с места, ибо была нарисована на поверхности столика.

– Хозяева, наверно, увлекаются шахматами, – сказала женщина, – а может, кто-то один из них. Наш знакомый обо-жал шахматные этюды и задачи... – грустно добавила она.

Жизнь так сложилась, что когда-то я немного углубился в шахматы, до этого только умел проиграть в упорной бесполезной борьбе не через пять минут только потому, что соперники, хоть и не все такие слабые, как я, задумывались над некоторыми моими ходами, которые, как говорится, ни в какие рамки не лезли. Хорошим игроком я, конечно, не стал, но одно время довольно сносно играл в шахматы с часами, изредка даже выигрывая у играющих получше, опять-таки за счёт неожиданных ходов, которые заставляли задумываться, упускать время и в цейтноте делать грубые ошибки, видные даже мне. Иногда мне потом рассказывали, что я начинаю играть редкие виды, например, начало Нимцовича, которое вообще играют редко, или дебют Сокольского, который соперник не знал, а поскольку я умудрился сделать не самые глупые ходы, решил, что это хитроумный вариант,

погрузился в задумчивость; за пять минут до конца своего времени остановил часы и попросил показать продолжение. Я сказал, что понятия не имею, так же, как и о том, что это дебют Сокольского, просто старался действовать поактивнее на ферзевом фланге.

Он сказал, что будет ночевать тут.

– Но... именно здесь... именно в этой комнате...

– Я знаю – умер ваш приятель. Вполне возможно, тысячи лет назад на месте, где мы с вами сейчас находимся, разыгралась великая битва или проходили турниры, или вёлся ожесточённый бой... Что ж теперь, вообще нигде...

– Мы этого не знаем! – прервала она. – Мы не знаем наверняка, даже не слышали и не читали об этих людях, о турнирах и схватках, сражениях в этой местности не помним из истории войн. А здесь всё иначе. Я лично знала человека.

– Мне нравится комната. Я сказал, что буду ночевать здесь. Помнится, вы говорили – я волен выбирать. Если планы изменились, укажите конкретную кушетку или кровать.

– Нет, почему же... Настаиваете здесь – пожалуйста. Я обязана вас предупредить, поэтому предостерегаю.

– Вы предупредили, я не согласился, все стороны удовлетворены. Можно устраиваться на этой кровати?

Она пожала плечами, помолчала немного, потом сказала:

– Хорошо, сейчас постелю.

Я остался один в комнате.

Любопытно. Я внимательно осмотрел все гравюры, картины – оказалось, это репродукции, копии, наверно известных картин и миниатюр, во всяком случае, редких – точно. Миниатюра к рукописи «Шахнаме» Фирдоуси, рисунок-портрет Филидора, матч Морфи-Андерсен, Лев Толстой играет в шахматы в Ясной Поляне, Капабланка даёт сеанс одновременной игры в Москве, фотографии Рети – Маршалл, Алёхин – Боголюбов, Спасский, Таль, Петросян, Фишер... Первая страница поэмы Кохановского «Шахматы», фото деревянных «Чигоринских шахмат», японских фигур из перламутра, «блокадных» ленинградских шахмат из картона, комплект фигур из слоновой кости VII–VIII вв. Афрасиаба (ныне Самарканда), шахматы для игры в космосе, костяные шахматы народов Севера, фигуры XI–XII вв. Киевской Руси...

Раздался звонок в дверь. Сюда он долетел едва слышно. Неужели к ней заявила подруга, соседка? Она дала понять, что здесь у неё ещё нет знакомых, родственники отдыхают, поэтому она вынуждена обратиться ко мне. Может, у неё полно подруг и знакомых, которые не могут переночевать, но могут зайти и поговорить не один час подряд. Я подошёл к двери и прислушался. Приоткрыл дверь.

Так и есть – тихо донесли женские голоса. Я закрыл дверь и отошёл к столу. Рассмотрел фигуры. Подумал и сделал ход.

В дверь постучали.

– Можно к вам?

Хозяйка просунула голову в комнату.

– Вы ещё не ложились? Можно зайти?

«Если они хотят, чтоб я составил им компанию, сразу иду к себе. А пусть тут балаболят до утра».

– Вам письмо с уведомлением. Выйдите к почтальону, получите, распишитесь. Почтальон принесла, звонила-звонила к вам; уже второй раз сегодня заходит, но вас нет дома; позвонила сюда и спросила, не подскажу ли я, когда она может вас застать дома. Я предложила зайти. Вы можете выйти к ней?

В коридоре стояла почтальон с конвертом в руке.

– Распишитесь. – Она протянула конверт.

Я расписался напротив своей фамилии в списке.

– Всего хорошего.

Письмо было от мамы.

В комнате я сел на стул и внимательно прочитал адрес. Как будто его не знал. Чего ей вздумалось отправлять заказное письмо с уведомлением?

Из письма я понял.

Несколько раз мать звонила по телефону домой, никто не отвечал. Обычно Лариса была дома и говорила с ней, наверно, мать из разговоров с Ларисой знала, что никто не собирается уезжать на отдых; она решила – или телефон неисправен, или кто-то болен, спрашивала: «Мы с отцом беспо-

коимся... Как Аннушка?.. Все ли здоровы?..»

Я вложил письмо в конверт. Нужно позвонить домой и сказать, что всё хорошо. Навещу завтра Аннушку и позвоню. Расскажу о ней, объясню, что Лариса с дочкой на даче. Это почти так. Ни слова об уходе Ларисы. Ни слова. Мать сведёт всё к вульгарным зловещим рога носца, как, впрочем, наверняка все женщины. Видят подобные истории только как драму любви с коварным вмешательством загадочной уверенной злодейки или красивого утончённого злодея.

Я едва не стукнул кулаком по шахматам. Потом посмотрел на фигуры и сделал ещё один ход – ответный. Ещё один... ещё... завтра же поехать к дочке... Позвонить маме... Никаких лишних слов...

Он ещё раз два полумашинально передвинул фигуры.

Как всегда, он старался быть объективным и играть за белых и за чёрных с одинаковой отдачей, с одинаковой силой; и снова, как часто бывало и прежде, произвольно выбрал цвет, который отождествлял со «своим».

Он задумался, подошёл к книжным полкам, посмотрел. Открыл. Стал вынимать и рассматривать книги. Очень много шахматных, от самых простых – для начинающих, до разбора сложных шахматных партий, связи дебюта с эндшпилем, проблем миттельшпиля – для опытных шахматистов; художественная литература на шахматные темы разных авторов.

«Белое и чёрное» шахматиста Котова, «Евгений Онегин» с закладкой на странице 250 и подчёркнутыми карандашом строками:

«Они над шахматной доской,
На стол облокотясь, порой
Сидят, задумавшись глубоко,
И Ленский пешкою ладью
Берёт в рассеянье свою».

А это что? Шахматное обозрение «64» с публикацией отрывка из «Других берегов» (отмечено – первая публикация Владимира Набокова в СССР), ксерокопия письма Пушкина, написанного жене в 1832 году: «Благодарю, душа моя, за то, что в шахматы учишься. Это непременно нужно во всяком благоустроенном семействе».

А вот книги. Книга на испанском языке какого-то автора, кажется, как я пытался прочесть, Мигеля де Унамуно, роман «Темп» Бурникеля...

Я поставил книги на место и посмотрел на ближайшую картину рядом с полками – «Шахматная партия». Маленькая табличка внизу – «Йоханн Эрдманн Гуммель». Художник? Не знаю... Шесть мужчин увлечённо рассматривали позицию на доске в каком-то богатом доме, двое из них играли. На столе горела свеча, позади стояла большая собака, наверно, борзая, слабо горела настольная лампа; большое зер-

кало слева отражало часть комнаты с играющими людьми. Я удивился, до чего чётко выписаны доска и фигуры, как лица людей, даже хорошо видно положение фигур; это напоминает какую-то небезызвестную даже мне партию. Я определил, что за окном на картине деревья и облака; удивился расцветке паркета на полу...

Мне надоело играть, рассматривать, я решил лечь спать, а перед сном почитать немного, чтоб скорее заснуть. Не глядя, сунул руку в шкаф и вытащил...

Не вытаскивается. Такая большая книга Майзелиса «Шахматы». Нет, слишком простая, хотя и интересная, особенно для тех, кто учится играть. Ого, 1960-й год издания... Следующими под руку попались «Шахматная новелла» и «Защита Лужина» в одной книге.

Он наугад пролистал, прочёл, как герой встречает молодую женщину, которая его сразу заинтересовала, увлекла и пленила... Лариса... Как будто написано о встрече с ней.

Они прожили не один год вместе. Неужели раньше нельзя было рассказать, что ей не нравится, поговорить... Он внезапно запнулся. Он редко с ней говорил. Или она по натуре молчалива? С самого начала он заметил её привычку задумываться, и эта привычка его раздражала. Поначалу она изредка думала вслух, произнося какие-то слова, смысловой связи в них он не улавливал. Он не мог понять ход её мысли и объяснял это тем, что мысли особой и нет.

Он вдруг подумал о ней со злостью.

Она усложняла самые простые естественные вещи. Вероятно, она почувствовала его раздражение, потому что перестала говорить вслух, когда думала. А что она говорила вслух? Спрашивала иногда, что ему лучше приготовить, не получится ли у него взять отпуск в сентябре, может ли он что-то сделать с замком в туалете, потому что он не закрывается...

Он посмотрел на книгу, которую держал в руке. А что она читала? Последнее время – Спок, Эда Ле Шан, Никитины, Росс Кэмпбелл. А до этого? Специальную литературу, конечно. Какие-то справочники, учебники. Но не только...

Он поставил книги назад. Ещё раз посмотрел на картину. Где-то он уже это видел... Столик, бюсты, зеркало... Зеркало, столик с шахматами, портрет...

Он резко обернулся.

Ничего себе! Странные хозяева. Или хозяин, словом, один из них. Обстановка в комнате напоминала изображённую на картине. Только людей и собаки не хватало. А вот и собака, плюшевая, с кровати; женщина, когда стелила постель, переложила её на стол, если поставить на пол, собака будет напоминать живую нарисованную. И лампу он зажжёт, как там, и за окнами сгущаются сумерки, видны облака и деревья из-за полуопущенного занавеса.

Ему стало немного не по себе, но он был рад, что перестал думать о Ларисе.

– Сосредоточимся на шахматах, – сказал я себе.

Тем более, сна ни в одном глазу. Не хочу читать, не хочу писать, не хочу спать.

Что-то у меня здесь не очень... (Мысленно я уже определил, что играю за чёрных). Белые почти захватили центр и хозяйничали там довольно уверенно и резво. Ну что ж, будем выстраивать оборонительные редуты. Пешки... развить королевского коня...

Я погрузился в размышления, пошёл, но за белых продолжал играть с активной атакой. Всё-таки я обязан хорошо играть за оба цвета.

Посмотреть в шахматных книгах, может там что-то найдётся похожее на мою партию?

Проходя с книгой к доске, я машинально взглянул на «Шахматную партию». Неужели я так невнимательно смотрел? Мне казалось, что у белых фигуры стояли немножко иначе. И у чёрных слон разве стоял тут?

Я внимательно вглядывался, пока не дошло, что позиция такая же, как у меня.

Наверно, я столько смотрел на картину, что бессознательно так же расставил фигуры.

Я полистал книгу, кое-что нашёл, но не совсем то, просмотрел диаграммы и решил продолжать развитие слона на королевском фланге, а потом и на ферзевом. Пешка g6, ход за белых, слон g7, ход за белых...

Становилось темновато, я поискал выключатель. Возле книжных полок. Я включил свет. Люстра хорошо осветила комнату. Картина словно выступила из полумрака, и я ещё раз отметил точность прорисовки каждой детали. Я не поверил своим глазам. Не так! Пешки стояли на b7 и g7, а белая находилась на b6. Было так темно, что я не заметил? Я в это не верил.

Быстро передвинул пешку на b6 и подошел к «Шахматной партии». Чёрная пешка передвинулась на то же поле. Подбежал к доске и сделал произвольный ход белыми, передвинул чёрного слона.

Игрок чёрными на картине точь-в-точь передвинул слона на b7 и внимательно смотрел на меня с задумчивой полуулыбкой. Правая рука протянута к фигуре и до конца ещё её не отпустила, левая чуть поднята вверх. У меня привычка иногда слегка поднимать вверх, если много пишу, то одну, то другую руку, а изредка и просто машинально. Правая рука игрока совсем опустила слона и словно щёлкала пальцами, как это я люблю делать. Ларису поначалу очень раздражал мой жест, потом привыкла. Или не привыкла, а смирилась и перестала просить не щёлкать пальцами, потому что видела, до чего её просьбы раздражают меня?

Почему мне пришло в голову – если я достойно окончу эту партию, то, вернувшись домой, увижу там Ларису с дочкой? Странность, навеянная необычностью ситуации, схожестью обстановки комнаты с интерьером на картине? Тоска по же-

не и дочке? Боязнь одиночества?

Итак, цвет я выбрал – за чёрных. Я вывалил на пол все шахматные книги и начал искать. Я боялся сделать ход, чтоб не ухудшить ситуацию чёрных.

Из увиденного на диаграммах выходило – ничего хорошего у чёрных нет. Тревожно. Я порылся и нашёл за художественной литературой шахматные журналы. Листая страницы, я наткнулся на цитату Вольтера: «Странная штука – шахматы! Я потратил на них, может быть, больше времени, чем на любое другое занятие, а брат Жан, этот тупица, – разносит меня в пух и прах регулярно».

Я немного успокоился. Если даже философ-просветитель, известный писатель заходил в тупик... Не всегда затраченное время пропорционально качеству результата. Иногда столько времени сидишь над проблемой, бьёшься, прикидываешь так и эдак, устаёшь, едва не заболеваешь, когда закончил, а результат – на общем фоне не лучше, если не хуже других. А иной раз пишешь, как говорится, одной левой, между прочим, в перерыве между делами, а если дело неотлагательное, то и не думаешь об этом – неделю, другую, потом побыстрее заканчиваешь, чтоб отвязаться, а выходит – супер!..

Строчки вдруг погрузились в полутьму. И это, когда я увидел «Уйтелки Максимилиан, чехословацкий шахматист; международный мастер (1961)». И внизу – позиция на доске сходна с нашей, название я еле различил – «Дебют Уйтелки».

Я посмотрел вверх. Лампочки еле мерцали. Несколько раз нажал на выключатель, проверил настольную лампу и саму лампочку – в порядке. Что-то с электричеством в сети. Комната в полумраке совсем стала похожа на комнату в «Шахматной партии». Приоткрыл дверь, выглянул в коридор и зажёг свет там. То же самое.

Я подошёл к картине, сейчас едва видимой. Улыбка игрока чёрными погрустнела, а игрок белыми взирал на меня с некоторым превосходством и снисходительной насмешкой.

Не приобрели ли зловещее выражение лица некоторых людей вокруг столика? и даже морда собаки?

Я оглянулся. Такое же увиделось мне здесь, в этой комнате, на бюстах и портретах.

Может, навязчивая идея?

Я придвинул к себе плюшевую собаку, хотелось ощущать под рукой что-нибудь мягкое, устойчивое. Поднял глаза на игрушку и отодвинул подальше. Морда животного оскалилась в злой ухмылке. Я сел за столик и увидел себя в зеркале. Человек среднего возраста, старше игрока чёрными на картине, с грустной полуулыбкой, тёмными короткими волосами, светлыми глазами...

Рассмотреть цвет глаз игрока не получалось. На втором столике, где стояли лампа, графин с водой, конфеты, возвышалась тонкая длинная свеча в металлическом шандале старой работы, рядом лежали спички.

Я поднёс зажжённую свечу к портрету. Лицо, рот, нос,

глаза... Светлые. Свеча дрогнула у меня в руке – лицо игрока старело на глазах, появились мелкие морщинки, крошечные складочки... углубились... несколько седых волос... седая прядь... Лицо человека среднего возраста с грустной полуулыбкой... Свеча задрожала.

Огонёк вспыхнул и погас.

Зеркало отразило за моей спиной какую-то тень. Я быстро обернулся. Никого. Я видел только себя несмотря на темноту, но лицо у меня было чуть другое, более сходное с игроком моими фигурами на картине. Или мне почудилось в игре полутеней? Нет, я чётко вижу седую прядь. Трогаю её рукой. Откидываю в сторону. Её раньше не было.

Я забыл обо всём кроме того, что случилось со мной сегодня. Я упорно перебирал всё сначала; нет, начало было не сегодня, а днём раньше, когда женщина попросила меня зайти переночевать; нет, ещё раньше, когда ушла Лариса, иначе я бы никогда ни к кому не пошёл ночевать, кто б ни просил...

Если уж я решил в чём-то разобраться, то от своего не отступлюсь. В конце концов, химия, «наша добрая волшебница», как говорила наша преподаватель, пришла, как всегда, мне на помощь.

Молекулы некоторых веществ существуют в виде двух оптических изомеров, они похожи друг на друга, как предмет на своё отражение в зеркале, тем не менее, эти вещества по-разному действуют на живые организмы. Скажем, зеркальный «двойник» аскорбиновой кислоты – антивитамин.

Уяснив ситуацию, я показал своему «двойнику» язык и скорчил рожу. В зеркале он сделал то же самое. Отражение в зеркале на картине тоже занимается этим сейчас?

Можно было погрузиться в загадочную связь этих предметов – шахмат и зеркал, их тайную давнюю близость. Что в них прячется? Живой человек, как в шахматном автомате Кемпелена, скрывавшем за системой зеркал опытного игрока? Не хватало ещё развивать банальную мысль, что за зеркальными лабиринтами, в сплетении холодных поверхностей бьётся человеческое сердце. Я повернулся спиной, зажёл свечу и придвинул шахматную книгу/

Оказалось, чёрные позволяют белым захватить центр полностью – как у нас; строят оборону – как же иначе; пешки fianкеттируют слонов, возможно двойное, как тут, fianкеттирование; теперь следовало установить фигурный контроль над центральными полями.

Короче, всё не так плохо. Я положил книгу рядом с собой, выбрал наиболее подходящий для меня ход и сделал его. Я не сомневался, что двойник сделал то же самое. (Или двойники?) Ничего, я не стану, как он, антивитамином, пусть лучше он станет аскорбиновой кислотой. Свеча горела ровно и ярко.

Он выровнял ситуацию. Белые продолжали наступать, но чёрные благодаря двойному fianкетто атаковали центр соперника. Филипп установил фигурный контроль над цен-

тральными полями. Положение устойчивого равновесия.

Ярко вспыхнул свет.

Он задул свечу, погасил настольную лампу и посмотрел на часы. Давно пора спать, ведь он собирался завтра пораньше ехать на дачу. При полном электрическом освещении комната оказалась уютной и безмятежной, безо всяких теней, отражений в зеркале, ухмылок на портретах и бюстах. Он подошёл к картине и убедился, что пригрезившиеся страхи напрасны, шахматные фигуры стояли вовсе не в том порядке, как ему померещилось, и Филипп решил ложиться спать.

Он откинул одеяло. Заметил письмо. Ещё раз перечитал его. «Завтра же позвоню, после поездки к Ане». Мать задавала много вопросов о Ларисе. Но он не мог ей ответить завтра. Надо придумать, как выкрутиться. Филипп вдруг понял, что и через неделю он не мог бы ответить матери. Он не знал. А если бы Лариса не уходила? Он редко задавал ей вопросы. Она почти всегда отвечала: «Ничего. Уже ничего», «Тебе это неинтересно», «Всякие мелочи, женские разговоры, зачем тебе такое нужно». Возвращаясь с работы, он находил жену дома в обществе малышки или на кухне, а если их не было, значит, пошли гулять или в поликлинику. Когда она ещё работала до декретного отпуска, Филипп знал – если нет дома, значит, на работе, а дома занята готовкой или уборкой. Несколько раз она смотрела какие-то фильма, точнее, пыталась смотреть – как раз в эти дни он должен был закончить первую главу диссертации и просил не создавать

шума; она почти выключила звук. Один раз к ним неожиданно зашёл его приятель-сосед, у них сломался телевизор, а он хотел посмотреть четвертьфинальный матч по футболу, и был уверен, что Филипп смотрит. Филиппа игра этих сборных не интересовала, но он переключил телевизор, и Лариса вышла из комнаты на кухню. Другой раз пропало электричество, а как-то внезапно позвонил отец, что сейчас приехал сюда по делам на два дня и зайдёт переночевать, она побежала за продуктами, потому что не из чего было приготовить ужин, а он (хотя обычно не отказывался от походов в магазин и на рынок) не смог пойти – его ждали на кафедре. Он вдруг подумал, что вопрос о том, хорошо ли ей, никогда даже не вставал. Будто и не было его. Есть муж, который не пьёт и не гуляет, есть крыша над головой, хватает на кусок хлеба и даже с маслом и ещё с чем-нибудь, есть работа, которая, должно быть, ей нравится, раз она сама себе её выбрала и проводит там столько времени, родился ребёнок; она со всем справляется, хорошо выглядит, молока ребёнку достаточно, первый месяц у них жила её мама, он по мере сил ей помогал и помогает; раньше заходили подруги, сейчас звонят – у большинства маленькие дети, они тоже заняты. Вот и всё. Всё хорошо.

Что ещё нужно женщине? Меха, драгоценности, модные наряды из дорогих бутиков? Она этим не интересовалась, а в бутики вообще ходить не любила. Да у неё было несколько старинных драгоценностей ещё от бабушки, которые Ла-

риса носила редко. А шубу он купил ей сам, в первый же год их совместной жизни. Роскошная норковая шуба. Почему он подумал сейчас, что, возможно, чего-то ей не хватало? Именно от него, а не от государства, частной фирмы, родителей или подруг? Чего-то нематериального? Но что же было плохо в её жизни? Да и было ли? Он устал от свалившихся вопросов и хочет спать. Устал и хочет спать, вот и лезут в голову всякие мысли.

Он отложил письмо. Пора спать. Если он начнет думать о Ларисе и об их отношениях, то никогда не заснёт. Только убрать разбросанные книги на место. Он так привык. Рано утром он выйдет из квартиры и сразу поедет на дачу.

Свет погас.

Он отдёрнул занавески и при слабом свете луны нашёл свечу и спички. Опять что-то с электричеством. Что за фокусы! Ладно, утром расставит книги, а сейчас – спать.

Осторожно, не споткнуться о стулья.

Спать расхотелось, когда он увидел, что в зеркале ярко высветились лица, полные насмешки и презрения. Как это могло получиться? Или зыбкий лунный свет вместе со слабым огоньком свечи исказил лица на картинах, бюстах, граюрах, увеличив и обрисовав их с вопиющим неправдоподобием?

Он отшатнулся, ступил на плюшевую собаку, нога поехала по гладкому паркету, схватившись за столик, он смахнул несколько фигур на пол.

«Обойдемся без поисков, никуда им не деться до утра», – он поправил остальные фигуры, чтоб не упали.

Свет зажётся. Не очень ярко, но достаточно, чтоб увидеть, как стоят фигуры и убедиться, что на «Шахматной партии» у игроков та же позиция.

«Иду спать», – повторил он себе мысленно, а потом вслух, но уже сидел за столом и искал в куче сваленных книг то, что было на доске. Знакомое, он когда-то играл это.

Кажется, Рети. «Мне везёт на чехословаков». Он машинально начал искать в указателе «Павел Недвед», потом сообразил, что если уж искать данные о Недведе, то не здесь. А здесь шахматы.

Так и есть. Дебют Рети. Он сидел со стороны чёрных фигур, за них и будет играть.

Всё же мне было трудно. Я неплохо знал дебют Рети, но в основном играл за белых, а не за чёрных. Почему я начал играть чёрными? Хотел доказать, что белым цветом уже играл такое и могу не дать себя разгромить, а вот чёрными, хоть и не знаком с такими вариантами, найду достойный ответ?

Соперник ходил, как и я раньше – атаковал не слабый пункт, а сильный с помощью с2-с4. Я делал ходы и одновременно искал в книгах, как лучше играть чёрными в дебюте Рети, но попадались только партии с победой белых. Позиция чёрных на нашей доске становилась всё хуже, я старался не отвлекаться и не глядеть по сторонам, чтоб не видеть жут-

ких удлинившихся теней, оскаленных физиономий в зеркале... Что это? За окном что-то блеснуло во тьме – лицо? фигура человека? животное? Свет почти погас, тьма сгущалась, только свеча озаряла доску с фигурами. Я страшно боялся, что она погаснет. Почему-то она ассоциировалась у меня с Ларисой – пока светит, всё в порядке, я могу за неё бороться, могу сражаться; если погаснет... Нет, этого не будет.

Отставим книги. Я умел делать неожиданные ходы. Продиктованные, впрочем, довольно простыми соображениями. А сейчас нужен необычный, какой-то иррациональный ход. Самое плохое – любое кажущееся равновесие, спокойствие, обманчивое «всё хорошо» вело к проигрышу. Я это не столько просчитал, сколько почувствовал. Я вдруг подумал, что мыслю, следовательно, существую, как и положено, но мыслю-то я не в словесной форме, а просто просчитываю. Но мышление должно протекать только в словесной форме. Это я знал хорошо и из лекций по психологии, и из курса языкознания, и из подготовки к сдаче кандминимумов... А ведь шахматные варианты рассчитываются не словами. Не словами, а $g3\ c6; Cg2\ d5; Kf3...$ Значит, мышление существует и без слов? Или это чувство?

Неожиданно высветился откуда-то в огоньке пламени ход $Cd3!$ «Мёртвый» слон ожил!

Я воспрянул духом и на удар стал отвечать ударом.
Но всё же терял темп.

Он не заметил, чтоб за окном светало, но в комнате стало чуть светлее.

Он нашёл несколько неплохих ходов – при неправильной игре белых это дало бы ему хорошую контригру. Но белые этого не дали.

После долгих раздумий Филипп решил: главное – не проиграть, ничья допустима. Но как её сделать? Как шутил один хороший шахматный тренер – «ничья методом предложения», но его шутка тут не проходила.

Он опять начал считать. И пошёл конём на f6. Да, идёт «разноцвет» – предвестник битой ничьей.

Белые, однако, не спешили с ничьей.

Свеча ровно горела, хотя за окном светало.

Филиппу казалось, в комнате спёртый воздух, он хотел открыть окно, но боялся встать из-за стола, чтоб не задуть свечу, не смотрел по сторонам – кто знает, что он увидит в комнате; а вдруг порыв ветра задует свечу?

Ему стало тяжело дышать. Собрав остатки сил, приказал себе думать. Он уже не мог ничего считать и с ужасом это почувствовал. Он ничего не соображает... Он не должен проиграть!

В памяти всплыло вычитанное когда-то совсем давно: «Рети – яркий тип художника, борющегося не столько со своими противниками, сколько с самим собой, с собственными идеалами и сомнениями». Почему он решил, что Лариса должна быть такой-то и такой-то? И Лариса должна быть

именно в этом лице идеальной женщиной? Ему не нравилось, когда она рассуждает, задумывается – почему? Потому, что он иногда её не понимает. А он пытался? Его раздражали её вопросы, не всегда уместные, а порой и глупые. Может, таким образом, она пыталась его понять? Не всегда удачно, но пыталась. А он? Решил, что ей хорошо. Конечно, ей не было плохо. Устойчивое положение, здоровье, хорошая внешность, работа, материальное более-менее приемлемое равновесие. Это всё достигалось само собой, без всяких усилий с обеих сторон, а чтобы приемлемое равновесие перешло в маленький обоюдный плюс, он должен был сделать... То, что иногда хотел сделать, но начинал сомневаться – а надо ли; как она это воспримет; как это вообще подурачки он будет выглядеть...

Вдохнув побольше воздуха, Филипп инстинктивно протянул руку к королю, имея в виду «королеву» g7!

Почти рассвело, свеча светила, но ему увиделось, что потемнело. Полубессознательным движением он протянул руку к ладье и сделал ею ещё несколько ходов после ходов белых... Все они вели к ничьей. Свеча продолжала гореть крошечным огоньком, слабым, но ровным... Лариса, подумал он, Лариса...

В глазах потемнело, он сполз со стула и упал...

Я не помню, что было потом.

Я хорошо помню последний ход королём, а затем ладья b8, d8, побила на d7... Что дальше? Все равно – ничья, ни-

чья чёрными в позиции, которая, казалось, была выигрышной для белых.

Я хотел приподняться, но что-то поплыло перед глазами, и я опять погрузился во мрак.

Женщина вставала рано.

Она привела себя в порядок, поставила на плиту чайник и решила на всякий случай тихонько постучать или заглянуть в ту комнату и, если сосед не спит, спросить, выпьет он чаю или кофе. А заодно убедится, что всё в порядке. Смешно, конечно, но эта мысль не даёт ей покоя. Их приятель увлекался шахматными задачами, этюдами, прямо дрожал над ними; иной раз забывал поесть и спать не хотел ложиться; возможно, сердце и подвело, пожилой ведь человек был, да и здоровье не совсем...

Она тихо постучала костяшками пальцев в дверь.

Молчание.

Она постучала чуть громче.

За дверью никакого движения.

Ничего не слышно.

Она приникла ухом к двери, прислушалась.

Тишина.

Осторожно приоткрыла дверь.

Везде был зажжён свет. В подсвечнике старинной работы догорал огарок. Значит, горело не меньше полночи, вон, что от свечи осталось. Но мужчины нигде не видно. Где же он?

Какой-то странный запах. Едва различимый, но неприятный. Или это от духоты, такой тяжёлый воздух...

Она открыла окно, обернулась и замерла. На полу лежал человек, которого она попросила переночевать. Она бросилась к нему, приподняла голову.

– Что с вами?! Очнитесь!

Ух, открыл глаза... Привстал сам на локте... Слава Богу... Уже встаёт. Всё! Сел на стул. Встал, прошёл к окну... постоял, повернулся...

Всё хорошо.

Она предлагала пить чай, кофе, ещё что-то...

Я должен был уйти.

Я не мог вспомнить – почему. Что-то мелькнуло у меня в сознании перед тем, как я его потерял. Почему упал в обморок? Никогда не падал. Женское это дело падать в обморок, лишаться чувств, всегда мне казалось, а вот так вот... Упал и провалялся довольно долго.

Женщина рассыпалась в благодарности, просила заходить к ней вместе с женой (почему она решила, что он женат?), а вот скоро приедут родные... Сын примерно его возраста, чуть младше... Может, он всё-таки выпьет кофе? или он предпочитает чай? У неё есть отличный...

Я поднялся, проверил, в кармане ли письмо, и мы доброжелательно попрощались.

Дверь за ним захлопнулась.

На площадке, прислонившись к лестничным перилам, стояла она. На стук двери она обернулась и увидела его. Наверно, она видела и женщину, которая утром, тщательно причёсанная и покрашенная, казалась моложе.

Она сделала несколько шагов по направлению к нему. Он подошёл к ней. Он столько думал об этой минуте. Сколько раз представлял себе этот момент. Он принимал её такой, как она есть, без привязки к идеалам, без сомнений в ней, ему всё равно, с кем она была, где, почему она пришла, может, забрать пальто или что-то ещё; она пришла, это главное.

– Ты пришла.

Он принимал её, такую какая она есть сегодня, какой была вчера, какой будет через много лет, когда состарится – нет, не то, он опять пускается в банальности – старая, молодая, не то; важно – он не будет переделывать и исправлять её, пусть делает, что считает нужным. Пусть молчит, задумывается, невпопад спрашивает или отвечает, пусть не рассказывает, с кем она была.

– Ты пришла, – повторил он.

– Ты тоже, – сказала она, – пришёл. Я давно жду, часа три-четыре. Думаю, ты спишь и не слышишь звонок. Как-то мне показалось, что я слышу шорох за дверью.

Он не хотел ей объяснять, почему провёл ночь не дома.

Он хотел, чтоб она замолчала.

– Что-нибудь случилось?

Ему показалось, что он смотрит на неё очень холодно, что

не смотрел на неё так, даже когда она ушла с дочкой из дому
– Я ушла с дочкой к родителям. Ни к кому другому я не уходила. У нас что-то зашло в тупик... Не знаю, что... Я стала сомневаться в наших отношениях и решила пожить какое-то время у родителей. А там, как получится... Пожить порознь, осмотреться...

И это тоже было неважно. Вероятно, этого она ещё не понимала.

– Мы с Аннушкой жили на даче. Я хотела пробыть до конца лета, но не выдержала. Сегодня ночью. Родители сейчас там; сказала им, что еду, села на такси и приехала.

Ему не нужно было это слушать. Даже это.

– Вот ты и пришла.

Сейчас это было самое главное.

Поймёт ли это она?

Они стояли молча, перед дверью, на лестничной площадке. Кто-то, посвистывая, поднимался вверх.

– Я понимаю, понимаю теперь, что ты меня ждал.

Она не спросила, почему его не было дома и что он делал в соседней квартире.

Наверно, для неё это тоже не имело сейчас значения. Она тоже принимала его таким, как есть.

И они будут втроём. И он с ней будет вместе. И они будут играть и за белых, и за чёрных, как получится, но обязательно вместе, и пусть с них спросят без придинок, но и без поблажек. Без форы и гандикапа.

Следы на песке

Рассказ

Море стало ласковым. Мягкий прибой лизал берег, и не верилось, что вчера ещё грохотали волны, с силой разбиваясь о волнорезы. На мокрой кромке берега валялись спутанные водоросли, яркое солнце грело нас, раскидав пену облаков.

Мы лежали на песке. Вернее, на песке лежал я, а ты – на надувном матрасе, алом, как твой купальник и твои губы. Ты лежала навзничь, не пряча лицо от солнца, и я смотрел искоса на твой неправильный, но трогательный своей нежностью профиль, выступающие ключицы и заглядывал в твои глаза. Глаза были как море – такие же сине-зелёные, влекущие и загадочные. Я терпеливо ждал, когда они перестанут быть для меня загадкой, и видел в них, что ждать осталось недолго. Я касался плечом твоей загорелой руки, мягких волос и мог писать сочинение на тему, что такое счастье.

Надевая купальную шапочку, ты, как обычно, гляделась в зеркальце без рамки, которое всегда носила с собой. Я стоял лицом к тебе и смотрел, как исчезают под красным сводом шапочки рыжие пряди. Я заглянул в зеркало и увидел перевёрнутое отображение твоего лица. Ты в зеркале была ближе, чем наяву, но твои глаза казались бесконечно далёкими,

и меня не было в них. А может, виной тому несовершенство зеркального отражения. Ты бросила зеркальце на матрас и улыбнулась.

Мы долго стояли по колени в воде. Вода была прозрачной. Потом стали медленно входить в неё. Вдруг ты вскрикнула и показала рукой куда-то в воду. Я проследил твой жест глазами. Почти у самой поверхности, в двух шагах от нас, плыла серебристая рыба. Она была величиной с мою ладонь или чуть больше. Она, казалось, совсем не боялась нас и спокойно покачивалась в толще воды. Она была какая-то сонная.

Ты тихо охнула и сказала полушёпотом, от которого у меня мурашки шли по спине: «Какая красивая! Вот бы посмотреть на неё поближе...» И я решил, что ты должна увидеть вблизи всё, что захочешь. Я выпустил твою ладонь и шагнул вперёд...

Я подвёл под неё сомкнутые руки и стал медленно поднимать их вверх. Рыба ничего не заметила. Она и впрямь была какая-то сонная. Может, она наглоталась снотворного, которое кто-то выбросил с корабля. Я поднимал руки всё выше. Но когда я был готов схватить её, она вдруг изогнулась всем своим серебристым корпусом и ушла вбок. Но далеко не уплыла и остановилась рядом. Я повторил попытку, потом ещё и ещё, но каждый раз рыба в последнее мгновение уходила от меня. Я зашёл в море почти по грудь. Я боялся, что она уйдёт в расселину между камней или нырнёт в водоросли, и я не смогу уже её увидеть, но рыба плыла почти

на поверхности. Она словно дразнила меня. Я начал злиться. Чем больше дразнила меня рыба, тем сильнее мне хотелось поймать её. Ненадолго я забыл о тебе и о том, что ловлю эту рыбу для тебя.

Рыба всё дальше уходила в море. Я опять стал подводить под неё сомкнутые руки. На этот раз я не должен был промахнуться. Я даже почувствовал её скользкий бок, но тут же что-то обожгло левую руку. Я поранил её о проволочный жгут, который ограждал стоянку водных велосипедов. Один из ржавых проволочных концов глубоко зашёл мне под кожу, а рыба, как ни в чём не бывало, сверкала серебром в дюйме от проволоки. Я расвирепел и, наверно, благодаря этому – злость придаёт мне силы, я это давно заметил – молниеносно выбросил правую руку вперёд и прижал ничего не успевшую сообразить рыбу к проволоке. Я хватал пальцами её ускользающие бока и всё глубже вдавливал рыбу в проволоку, чувствуя, как податливо входит в металл мягкая плоть. Когда я стал помогать себе другой рукой, рыба уже не сопротивлялась.

Я побежал к берегу, держа добычу перед собой в вытянутых руках. Я добежал до берега и бросил рыбу в песок. Рыба раскрывала рот, жадно ловя воздух, и била по песку серебристым хвостом. Песок чуть подмок от крови, текущей из её пораненного брюшка. Мне не было её жаль. Я сильно поранил руку, и из неё тоже текла кровь. Я взял горсть песка и стал сыпать рыбе на голову. Она мотала головой, раздувая

жабры.

Я вспомнил о тебе. Ты стояла вблизи, мокрая, в мокром купальнике, который стал от этого ещё алее, а загар – ещё коричневатее. Ты подошла совсем близко и посмотрела сначала на меня, потом на издыхающую рыбу Ты подняла на меня взгляд, и я увидел в твоих сине-зелёных, как южное море, глазах невестку откуда взявшиеся айсберги.

Ты повернулась и пошла прочь, оставляя уходящие вдаль, одинокие маленькие следы на песке. Набегала волна, размывая их очертания. Первые следы уже были почти неразличимы.

Я смотрел тебе вслед, как ты шла. Такой походки нет ни у одной женщины в мире. Твой алый купальник становился меньше и меньше. Твои вещи лежали рядом. Небо закрыли облака, и зеркало лежало на матрасе куском серого картона.

Несправедливость

Повесть

Маме

Нет справедливости. Одним – всё, другим – ничего. Одни бьются всю жизнь впустую, а другим с неба всё валится. Например, Лизе. Всегда везло. А я, что мне причиталось, – горбом, зубами, ногтями и ещё чёрт знает чем. Как я устала, как намучилась! А она – пташкой по жизни. Теперь угомонилась, сердешная. Спи спокойно, Лизок, а мы ещё посуетимся. И я, и твой муж, и твои дети, и все мы – оставшиеся. Мы – здесь, а ты там. Мы – в настоящем и впереди у нас – будущее, а ты – в прошлом, ни будущего, ни настоящего у тебя нет, и всё, что с тобой связано, – было, и ты – была, была, была... Порвалась связочка. Ты хочешь мне возразить? Ах, – дети! Они ни капельки на тебя не похожи: сын – копия мужа, а дочка – ни в мать, ни в отца... дурнушка... Впрочем, ты тоже в детстве ходила гадким утёнком, а в кого сейчас превратилась... Что я говорю, сейчас ты – прах, ничто...

Ты что-то ещё хочешь сказать?

Муж твой – он уже не твой муж. Но ещё вполне. Не засидится. Мало ли желающих разделить скорбь вдовца с таким метражом и окладом? И внешность в придачу. Нет незаме-

нимых, Лиза, нет.

А твоих детей мне жалко. Единственный случай, когда замена не заменяет. А если с мачехой им сильно не повезёт... Я же говорю, мне их жалко. Только не думай, что они сохранят в своих сердцах светлую память о тебе – все это надписи на могильных плитах, заросших бурьяном. Дочь ещё слишком мала, о тебе она вспомнит, когда ей одной придётся тащить эту баржу – ячейку общества плюс общественно полезный труд. Бурлакам и не снилось. Вот тогда она тебя вспомнит, когда некому будет подменить её хоть ненадолго, и только потому-то и вспомнит. А сын... У мужчин, тем более молодых, в голове такое не задерживается (как и почти всё остальное). Институт, друзья, подружки, подружка, жена, дети... И – работа, работа, работа... Через десяток лет накрепко забудет. Так ты второй раз будешь похоронена, Лизок.

Что ещё? Твои больные? Твои статьи-монографии, диссертация? Насчёт печатной продукции – положи руку на сердце, кому она нужна, кто её читает? Никто, кроме автора (и то не всегда – сама писала, знаю) и корректора – ему, бедняге, всё равно над чем терять зрение и получать геморрой. Диссертацию и оппоненты, что там оппоненты – и руководитель не всегда имеет терпение дочитать до конца. Больные твои – так они или вылечились и забыли о тебе (на что ты им, здоровым, теперь), а кто не вылечился – те умерли, и их тоже нет, как нет и тебя. Вот так, Лиза, как ни ищи, никаких следов.

А как же тебе хотелось, чтоб остались! С самых детских лет. Может, и с пелёнок. Ну, в пелёнках я тебя не застала, а с девяти лет отлично запомнила.

* * *

Неритмичный звук (скакалка по асфальту) режет ухо. Не получается, хоть все меня учили – там, на старом дворе. А эти, чужие (мы сюда только переехали из коммуналки), стоят, смотрят и ехидно ухмыляются. Плакать хочется. Зря я согласилась на мамины уговоры («Иди-иди, скоро в школу, насидишься дома за уроками»). Не умею я знакомиться, а им это не нужно. Они тут все свои, для них я – чужая.

Вдруг какая-то девочка с жёлтыми крысиными хвостиками – прямо ко мне. Она так хочет научить меня, как будто от этого зависит её жизнь («Во даёт!»). И когда я, наконец, одолеваю проклятую скакалку, она радуется больше меня («Ненормальная!»), и я сразу забываю о ней, я уже своя среди них, мне не до неё. Вскоре она исчезает. «У неё мама больна, она надолго не выходит», – говорят мне. «Она из другого двора, но мы дружим».

Она – это Лиза.

Через неделю мы бежим в соседний двор смотреть похороны. Похороны я вижу первый раз в жизни. Второй раз в жизни я вижу Лизу. Хоронят Лизину маму.

Следующий день – первое сентября. Кроме меня в классе

ещё одна новенькая – Лиза. Мы садимся вместе. Лиза одна в чёрном переднике.

– Ты – Чёрная? – спрашивает учительница.

– Да, – кивает Лиза.

– Поэтому ты надела чёрный передник в такой торжественный для всех нас день? – острит учительница, и все весело хохочут.

Я вижу, как Лиза изо всех сил сжимает побелевшими пальцами крышку парты, как дрожат у неё губы, и думаю, что сейчас она разревётся, но она вдруг задирает подбородок к потолку – короткие жёлтые хвосты достают до лопаток, и звонко, даже с каким-то весёлым вызовом выпаливает:

– Поэтому!

Я одна знаю, отчего Лиза в чёрном. Но не буду же я выдавать её секреты – может, она не хочет, чтоб об этом знали. Сказать учительнице после урока один на один? Но Лиза же не просит меня. Да она и сама могла бы.

Инцидент не отразился на её оценках. Она – первая ученица. Я – вторая. Совсем мне не нравится быть второй, хоть я, конечно, рада за подругу. Я занимаюсь как проклятая, – страницы учебников так и мелькают. Сиднем сию, не вставая. И днём, и вечером, и ночами. Сил моих больше нет. Тошнит от книжек. Как может Лиза заниматься больше меня? Как она высиживает ещё дольше? Она что – сутки растянула часов на пять?

Я уже задыхаюсь, а Лиза всё впереди. Я хочу знать, что за

методы такие, что за скорость. Напроситься позаниматься с ней вместе? Это – запросто. Сегодня же попрошусь, скажу, что задачу решить не могу. Она не откажет. Она никому отказать не может.

На площадке, выходя из квартиры, сталкиваюсь с Лизой.

– Мы теперь здесь живём, – говорит Лиза и показывает на соседнюю дверь. – Обменялись.

По поводу этого странного обмена у нас дома было много разговоров.

– И зачем менять квартиру на худшую? – пожимает плечами мама. – И метраж меньше, и планировка хуже. А район один.

– Там у них мать умерла, – говорит папа.

– Ну и что?

Вот именно – «Ну и что?»

Лиза словно знала, что на неё квадратные метры польются золотым дождём, и она швырялась ими направо и налево. Хуже – так хуже, меньше – так меньше.

У меня сейчас тоже квартирка вполне: одну стенку (от коридора) мы перенесли, на кухню два года стояли, а стенку (югославскую) нам достали, словом, покрутились, но квартирка даже очень, не хуже, чем у людей, не стыдно кого-то в гости пригласить (лучше, конечно, не приглашать, мясо – восемь ре на базаре, что я – миллионерша?). Но это – сейчас. А как мы начинали! Я на этих обменах, разменах, доплатах, ремонтах, переездах не собаку съела, а слона, может, и не од-

ного. А Лизе – всё само в руки плыло. И не только квартиры.

А к ним я в тот же день пошла. Ну-ка, посмотрим, как вы живёте, Лизок. Принюхаемся получше... Чем у вас тут пахнет?.. А? А пахнет-то – борщом! Вот это да... Лиза борщ варит. Не как я, понарошку, под маминым присмотром кукулам варю, а по-всамделишному.

– Ты что, борщ варишь?

– Не борщ, а томатный суп. Доставай тарелки, будем обедать.

Ну что ж, попробуем твою стряпню, хоть я дома и ела, отсутствием аппетита не страдаю.

– Всегда сама готовишь?

– Нет. По выходным – папа. А иногда не успеваю, верней, очень не хочется, – тогда всухомятку или как придётся. Ещё добавить? Второго нет.

– Не надо, спасибо, Лиза.

Готовишь ты вкусно, но ты что думаешь, я – резиновая?

Ну вот, Лиза домывает посуду, сейчас пойдём заниматься. Засядем по-мёртвому. Но Лиза предлагает мне остаться и поразвлекаться самой или пойти с ней забрать бельё из прачечной и в магазин.

– Обычно – папа, но сегодня у них собрание, а у нас хлеба нет и полотенца чистые нужны.

Ну и денёк! Весь вечер мотаемся по магазинам, прачечным, и когда затемно приходим домой, я вымотана совсем, а Лиза – ничего, весёленькая – её любимые тянучки купили,

и расставляет посуду – пить чай.

– А уроки?

– А на завтра почти ничего не надо. – Беспечный голос, сама потрошит коробку с тянучками. – Бери.

– Как – не надо? Русский, история, а задач и примеров сколько, – кладу в рот тянучку

– Задачи – с утра, на свежую голову, русский – последний, я его на большой перемене сделаю, а историю я и так знаю, я об этом читала.

Тянучка застревает где-то между глоткой и пищеводом и стоит там, а я кашляю, пока Лиза не начинает хлопать меня по спине.

– Не хватай сразу много, – поучительно, как маленькой, говорит мне она. – Правда, вкусные?

– Ты всегда так уроки делаешь?

– Как – так?

– По утрам.

Лиза думает. Старательно вспоминает.

– Нет, не всегда.

Наконец-то!

– Иногда с вечера. Зато утром можно поспать подольше.

Лизино признание падает на меня, как самая тяжёлая из её сковородок. По сей день помню свои ощущения. Я – корплю день и ночь над осточертевшими учебниками, я – решаю наперёд задачи, чтоб в классе сделать вид, что первая их решила, устаю, недосыпаю, а она бездельничает. Я видела, как

она что-то пишет на переменах, но думала, что она тоже переписывает с домашних шпаргалок, чтобы показать свою гениальность. А она, оказывается, и полутора часов не занимается. За что ей только пятерки ставят. Конечно, меня радуют успехи подружки (из класса в класс они всё лучше), но должна же быть хоть какая-то справедливость? Почему всё ей?

У меня не ладится с иностранным, и мама нашла немку (сын бы сказал – репетиторшу). Нет, она денег не берёт, просто мама (она завателье) устраивает её к лучшей портнихе без очереди. Репетиторша живёт этажом выше, и каждый раз, поднимаясь к ней, я дрожу – что скажу Лизе, если её встречу, что будет, если Лиза проведает. Долблю немецкий, а хвалят Лизу, которая в лучшем случае читает текст один раз перед уроком.

– Кто с тобой занимается? – спрашивает Лизу учительница.

– Никто.

– Не может быть! Такое произношение, не говоря уж об остальном. Наверно, всё-таки кто-то занимается, а?

– Я по самоучителю, – краснеет Лиза (ни капельки врать не умела, за всю жизнь так и не научилась).

Никакого самоучителя у неё не было. Я знала Лизины книги, и не только книги – платья, куклы (в восьмом-то классе!), тетрадки, бельё, обувь – наперечёт, лучше, чем свои. Сколько раз я к ним заходила, всё осмотрела и запомнила.

Лизе стыдно было признаться, что ей легко всё дается. Она совсем не трудилась, а только и слышалось – Лиза да Лиза. Я занималась, как... даже сравнить не с чем... а лавры – ей. А мне даже занижали оценки. По русскому текущие у нас были одинаковые, но четвёрку в четверти ставили мне, не ей. Я хотела порадовать Лизу её пятёркой и позвала в туалет, где никто не мешал смотреть журнал. Случайно у меня вырвалось: «Надо же! Текущие одинаковые, а четвертные – разные».

Лиза загорелась бежать за объяснениями. Я отговаривала подругу, как могла, но если Лиза что-то задумала...

– Тебе (значит, мне) двойки было много за последнее сочинение. Слово в слово списала. Не хотелось табель портить. А вообще училась бы ты лучше радоваться успехам других. Если не радоваться, то хотя бы не воспринимать их как личную трагедию.

Не зря я отговаривала Лизу. У каждого свои любимчики. А Лиза уставилась на меня странным взглядом, смотрела, пока не пришли к ней домой. Я часто у неё бывала. Мне очень хотелось докопаться до правды. Уже не один год я до неё добиралась. Может, она по ночам не спит, а занимается? Может, отец сам всё по дому делает или кто-то по найму, а она разыгрывает передо мной комедию с тряпками и кастрюлями? Я всегда старалась под каким-нибудь предлогом взглянуть на её письменный стол – вдруг я увижу решённые наперёд задачи. Улики не находились. Или она ловко их

скрывала.

Если она знает, что я зайду, она может всё припрятать. А если – внезапно? Попрошу помочь решить задачу, книжку дать почитать (когда их читать, уроки едва успеваешь). Обычно Лиза торчала на кухне. Я старалась пореже отрывать её от хозяйства, но мне и впрямь всё чаще нужна была её помощь.

А если – ночью? Тут ей отступать некуда, ночных бдений над учебниками не скрыть.

Вечером Лиза оттаивала, начинала трепаться по пустякам или сентиментально ударялась в воспоминания детства (в десятом-то классе!). Странно было и непонятно – Лиза днём и Лиза ночью. Днём – ничем её не прошибёшь, ничего из неё не вышибешь. А тут, в темноте (она не любила включать свет, сидели впотьмах, только луна в окно, а ей нравилось – «И так светло»), сворачивалась с ногами в задрипанном кресле (мебель у них – одна рухлядь), даже не сидела, а полулежала: заброшенный одичалый зверёк, бывший когда-то домашним, потихоньку опять им и становился. Один раз она совсем разболталась и часа два молола мне всё подряд о своей покойной матери – она для неё вроде как живая, каждый вечер она с ней говорит, как с живой...

Видишь, Лиза, история повторяется. Твою дочь тоже ждут ночные беседы со своей несуществующей матерью...

Я установила, что Лиза и вправду мало занималась. Тогда мы проговорили всю ночь, вместе позавтракали и пошли в

школу, и она на географии решила алгебру, я у неё списала.

Отец был не в восторге от моих ночёвок у Чёрных. «Чем вы занимаетесь? Только не говори, что ночи напролёт сидите над тетрадками. На Лизу это не похоже. У тебя есть свой дом, пусть и она к нам приходит».

Я деликатно, как всегда, попыталась ему объяснить. Тогда я не понимала, что и очень умному мужчине (как мой отец), бесполезно объяснять что-либо из жизни женщины – он всё равно ничего не поймёт, даже если очень захочет (он понимает одно – свою дурацкую работу, впрочем, это уже не об отце).

– Я что-то не понимаю, – честно признался отец. – Твои поиски истины в чужой квартире... Как-то это, знаешь, похоже на...

Ах, ну что с них взять!

Лиза ни о чём не догадывалась. Она вообще где-то была простушкой, её легко было обвести вокруг пальца. Но я никогда себе этого не позволяла. Ведь она – моя подруга.

А она меня предала.

Мы дежурили и остались мыть полы. Я побежала купить чего-нибудь пожевать, а Лиза пошла за водой. Когда я вернулась... Этот Лизин хохот до сих пор у меня в ушах – ни до, ни после такого не слышала. А из глаз – слёзы... Ещё минута, и я бы убежала – так она меня испугала. Она перестала.

– Кажется, истерика.

Она сама же мне и сказала, я тут ни при чём. Тогда я

лишь читала в каком-то романе о женской истерике. Сейчас... Впрочем, не о том речь.

– Ты не представляешь, как я устала...

(Почему же, представляю, все мы устаём.)

– И часто с тобой?

– Первый раз. Пусть это будет между нами, ладно? – сказала Лиза.

Первый раз она меня о чём-то попросила. Она вообще редко просила. Я ужасно жалела подругу, но было приятно, что Лиза из заумной превратилась в обыкновенную (вот так превращение, почище, чем Лиза днём и ночью).

Перед самым выпуском, во время замены (вместо заболевшего биолога прислали учительницу русского из параллельного) мы развивали в себе высокое чувство – любовь к матери посредством чтения вслух соответствующих отрывков из соответствующих произведений (это не я, нам сказали, мне запомнилось). Читать велели Лизе. Лиза отказалась. Учительница настаивала, хотя читать выучились все, и Лизу мог заменить любой. Педагог возмущённо заговорила о безобразном поведении старшеклассниц, которые красятся, курят, а на переменках, прямо в школе... (уж Лиза-то с её жутковатой внешностью была явно ни при чём). А потом логично заключила, что ученица, которая отказывается прочесть такие высокие строки, никогда не сможет по-настоящему любить мать, родину и школу. («И вообще – любить по-настоящему», – дополнил кто-то).

Я увидела, что у Лизы начинается... Увидели и другие. Поднявшийся было смешок утих. Учительница засуетилась, нашарила в сумке таблетки и дрожащей рукой протянула их Лизе. Но Лиза отстранилась от руки с таблетками. Я испугалась за подругу. Я должна была ей как-то помочь.

– Лиза, возьми таблетки, а то у тебя опять начнется истерика, как тогда.

Я прошептала только Лизе, но из-за тишины мои слова слышали все. От Лизино взгляда мне захотелось спрятаться в чернильницу. Вдруг Лиза задрала кверху подбородок, слёзы куда-то делись, отвела руку с таблетками («Спасибо, не нужно») и очень спокойно – ей же: «Не вам судить о моих чувствах». Прямо как в кино.

После урока (он был последним) Лиза молча побросала книги в сумку и пошла к выходу.

– Лиз, ты чего? Как себя чувствуешь?

– С завтрашнего дня мы сидим за разными партами, – сказала она и странно на меня посмотрела.

А как сказала-то! Нос – кверху, подбородок – вперёд, губы кривит и ещё этот странный взгляд, который я так не любила.

И из-за чего? Я же хотела ей помочь. Она пересела на свободное место к Любичу, в которого поочередно в одиночку или группами влюблялись девочки нашего – и не только – класса. Это тоже было – гром среди ясного неба! Вот так запросто сесть с Любичем. Правда, Лиза – самая невзрачная, никому и в голову не пришло, что за этим что-то кроется (а

кто его знает, может, и крылось?). Впрочем, Лизу уже тогда мало интересовало, что подумают другие. На других ей было наплевать. Отсела, предав меня. Если б не Лиза, я бы тоже получила «золото», а не «серебро» – она, конечно, помогла бы мне на письменном по математике, и мне не поставили бы «четыре».

Лиза подала в медицинский. Когда я узнала об этом, забрала как во сне документы из института легкой промышленности и, несмотря на мамины уговоры, отнесла в медицинский институт. Какая разница!

Это Лиза виновата, что я до сегодняшнего дня работаю врачом и до сих пор не знаю – почему именно им. Тебе, Лиза, этого не понять. Ты всегда эгоистично следовала только своим желаниям.

И в том, что я так сдуру вышла замуж, ты тоже виновата. На первом курсе мы помирились (нет, я с тобой помирилась, извинялась ещё, неизвестно за что, но надо прощать друзьям и всегда идти им навстречу), однако пик интереса к Лизе был в прошлом. У меня появились другие интересы. У меня словно глаза раскрылись – мне их раскрыла мужская часть нашей группы. Не во всём Лизе идти впереди меня. Как я раньше не видела! Я была поглощена тобой, Лиза, из-за тебя у меня ничего ни с кем не было! Даже ты и то, кажется... (не знаю, тут ты и со мной не откровенничала). И мне не наверстать, хотя уж теперь я не упускаю... Но это – другое, а что могло быть – потеряно, и ты во всём виновата,

ты. Ладно, грех сердиться на покойников...

Если бы не Лиза... Никогда б я замуж не вышла за первого же увлékшегося мной. Год я была счастлива, а потом... Поздно менять, да и боязно – кто знает, что меня ждёт. Ну что ж, так живут все – чуть лучше, чуть хуже. Рано или поздно это становится привычкой, райские кущи – тесной квартирой с недоделками ещё при сдаче, идеал – заурядностью, которую надо постоянно кормить (желательно мясом – восемь ре на базаре!) и сносить её убогие комплименты как безвкусную приправу к надоевшей близости. Ничего я не стала менять. Просто время от времени, при подходящем случае, я, как всякая нормальная интересная женщина (если она действительно женщина), позволяю себе... Впрочем, не важно. Я же не о себе...

Я о Лизе. Я мало знаю о её студенческой жизни – повышенная стипендия, студкружок при кафедре патанатомии... Пожалуй, всё. На третьем курсе я вышла замуж, родители мужа разменяли квартиру, и я переехала. Через год родился сын, и хотя мама ушла на время с работы и «академку» я не брала, но Лизу из виду потеряла. Мы учились в разных группах, общих знакомых – почти никого...

Лиза тускнела и расплывалась. Доходили слухи: «красный» диплом, хотели оставить в аспирантуре, но почему-то не оставили (что значит «почему-то» – есть более достойные); субординатура на кафедре патанатомии, три года врачом – где-то в селе; вернулась, вся в работе – где-то в больни-

це, не то пишет диссертацию, не то собирается; не замужем.

Конечно, что ещё делать незамужней с некрасивой внешностью, но с неглупой головой? Лишь корпеть над диссертацией или лезть из кожи вон на работе. Я вспоминала о подруге с жалостью. У меня при всех минусах было больше плюсов. Я не рвалась в науку. С меня хватало семьи и работы – патологоанатомом. Нет, ты, Лиза, ни при чём. Мой выбор (он и не выбор вовсе, выбор – право сильнейших) не связан с твоим влиянием. Больница – близко к дому, согласны на полставки – не хотелось мне отдавать сына в садик даже на год (да я ж и не лошадь, мужчина в доме есть), а мама решила заработать пенсию, вот я, пройдя специализацию, и сидела по вечерам над препаратами. Как-то ко мне по работе зашла сокурсница. Поболтали. Она хорошо знала Лизу.

– Как у неё с наукой?

– Не до неё. Разрывается между работой и больным отцом.

И никакой отдушины. С её внешностью – и одна.

С её внешностью? С её внешностью одной и быть. Одни жидкие волосы цвета яичного желтка чего стоят. Как мне было жалко Лизу! Бедная Лиза. Никакого просвета. После работы – больной (и, наверное, капризный) отец, матери нет, помочь некому, времени куда-то пойти (глядишь, кого-нибудь и...) – нет, на работе тоже особенно не познакомишься – одни юбки. Да и знакомства эти... Им лишь бы поразвлечься. А потом сама расхлёбывай. Кто, уцелевший от брака, рвётся жениться в такие годы. Наоборот, женатые думают, как бы

вырваться. Чтобы женить на себе нормального тридцатилетнего, надо иметь не Лизину хватку, конечно, хорошо скрывающую, если он не совсем дурак (если совсем, то можно и не скрывать), и не иметь Лизиной щепетильности.

Я очень грустила, что у моей подруги так не сложилась жизнь. А какое было начало... Я вернулась домой, приняла душ, сделала маску (к тридцати у меня наметились «гусиные лапки», но я не собиралась сдаваться), помыла черешни, прилегла на кушетку и, отключив телефон, с головой ушла в грустные мысли о Лизе. Муж, придя с работы, с грубостью, свойственной всем мужчинам, нарушил моё уединение (ребёнка я оставила пожить у родителей, я и так очень уставала). В мужнину голову ничего не пришло умнее, чем задать, прямо с порога, сто вопросов сразу – почему выдернут телефонный шнур, когда ему должны звонить по архиважному делу («Тебе – всегда по делу, а мне – почесать язык»), почему сын опять шатается так поздно неизвестно где («Ты – отец, сам должен знать, где твой сын»), почему самая ценная из всех тарелок («Тоже мне – ценность»), которые его друг выкопал из какого-то кургана и подарил ему на юбилей («Додумался!»), валяется, приспособленная под мусорное ведро («Только на это они и годятся!») на полу («Не в стенку ж я их поставлю!»), почему я сама полуголая валяюсь посреди нашего свинарника («Пылесос на месте, возьми убери!»), с блаженной физиономией, вымазанной розовой жирной дрянью (?!!)...

Он никогда не понимал моих чувств. Они для него слишком... . . .

Я бы, наверно, забыла о Лизе, если бы однажды, навещая родителей, не засиделась у них. Как я люблю бывать у родителей – одна, обязательно одна! Присутствие мужа и ребёнка смазывает впечатление.

– Разогреть? Не остыло? Хлеб – маслом? Постой, твоё любимое, вишнёвое... для тебя припрятала баночку, сейчас...

Всё – для меня. Дома – как на иголках, дома я – для всех. Подать, убрать, включить, выключить, вытереть... Не семейная трапеза, а прыжки на табуретке. Уже и зарядка не нужна (нужна, я, кажется, полнею, непонятно от какой такой хорошей жизни).

– Чай, как всегда, покрепче? Сахар – как обычно? С лимоном? – Мама размешивает сахар, бросает в чашку жёлтый кружок (тёмная жидкость светлеет) и протягивает её мне. – Да, знаешь, у Лизы... Ты помнишь Лизу? У Лизы отец умер... Бери варенье, я по особому рецепту...

«Отец умер»...

– ...для тебя...

«Жалко, конечно. Одна...»

– ...вместо косточек – орехи...

«...ухаживать не за кем, свободного времени много... Теперь можно позволить и за собой поухаживать. Конечно, если есть кому позволять...»

– Ой, чуть не столкнулись!

– Простите... задумалась...

«О чём я?.. О том...»

– Ну какая же ты чёрная, ты же золотая...

«Странная фразочка... Что сейчас делает Лиза?»

Что она делает сейчас, до меня дошло, когда я приехала домой.

«Ну какая же ты Чёрная...» – вот что сказал мужчина. Мужчина, которого она повела к себе в пустую квартиру, ночью, сразу после смерти отца, как какая-нибудь...

Как я сразу не поняла! Мы в ответе за своих друзей. Скорее, к ней, уберечь, помочь, пока не поздно. Вдруг он – алкоголик, жулик, проходимец, имеет виды на чужие прописку и жильё – одна ведь осталась, в двухкомнатной квартире, в центре...

Срываю повешенный плащ, начинаю надевать, никак не могу попасть в рукава...

– Ты куда собралась? – муж стоит в дверях и смотрит на мои попытки. – По-моему, у тебя температура («Конечно, как и у тебя и у всех, я ж не мертвец»).

Он подходит, трогает мой лоб, забирает плащ, как игрушку у ребёнка, которому пора спать, заставляет измерить температуру. Тридцать восемь и два. Он почти насильно укладывает меня в постель, накрывает пледом поверх одеяла и приносит чай с малиной. Приторно-сладкий (столько малины на такую чашечку, они ничего не смыслят) чай кажется мне горче английской соли.

– Мне надо... Мне срочно надо...

– Завтра, завтра пойдёшь.

– Мне надо сейчас, сегодня...

– Завтра... завтра...

Ни завтра, ни послезавтра, ни через неделю. Десять дней я лежу пластом. Похоже, серьёзно – пришла мама, может, живёт у нас – всё время вижу её лицо сквозь пелену. Чуть реже – растерянное лицо мужа... Лицо сына – совсем редко, его не пускают, в его глазках – страх и удивление... Не хочу я их никого видеть. Я должна видеть Лизу. Лиза, где же Лиза...

Едва выздоровев, еду к ней. Стою под дверью, вслушиваюсь. Минуту, две, пять, десять. За чёрным дерматином ни звука. Зайду сначала к себе.

– Мам, а где Лиза?

– Лиза-а-а? – Мамины брови ползут под самую причёску. – Ты б хоть спросила, как мы тут... Всех перепугала... Я почти неделю не спала... пока у вас жила... Отец извёлся...

– А что с Лизой?

– Ты что, в самом деле? Далась тебе эта Лиза... Что ей сделается? Вышла твоя Лиза замуж пару дней назад и переехала к нему.

– К кому?

– К мужу, конечно.

– Кто он?

– Да почём я знаю! Лиза... Лиза... Ты посмотри, на кого ты похожа...

– Я ж болела (мама права, надо больше собой заниматься).

– А по мне – ты и сейчас больна.

За кого же Лиза вышла замуж?

Он – кандидат (кажется, биологических), старший преподаватель, мастер спорта. Титулов прибавилось, а внешность та же. Пожалуй, лучше. Не заматерел, а возмужал. Совсем вполне. Даже в этой троллейбусной давке выделишь из прямой толпы. Я его сразу узнала – Любича.

И что он в ней нашёл?

Может, не мог не жениться? Когда у них родился сын, я сопоставила даты – не раньше, чем через одиннадцать месяцев. Может, он вынужден был жениться, хотя они ещё не знали, будет ли ребёнок. Мне вообще-то всё равно, просто я желала ей счастья, а эти вынужденные браки обречены с самого начала, даже если не оканчиваются разводом. Я незаметно выяснила у мамы, как Лиза проводила время после смерти отца. Оказалось, с ней жила подруга. По моим подсчётам выходило, что она жила у Лизы до её замужества. Но ведь она могла ночевать у Лизы не каждую ночь? Какие у них были отношения до регистрации? Кроме Любича никто мне не ответит. Конечно, я не так воспитана, чтобы его спрашивать.

Мне опять захотелось увидеть Лизу. Я позвонила ей (телефон я предусмотрительно взяла у Любича), поздравила с рождением первенца и попросила её помощи. Мне надоело прозябать в моей дыре, я хотела устроиться в онкоинститут,

куда перешла работать Лиза. Я уговорила её поговорить не по телефону.

Лиза?!

Чужая, хотя и очень знакомая женщина. Перед ней по осыпавшимся листьям катилась высокая импортная коляска – Лиза, казалось, не прилагает никаких усилий, и сама она будто не шла, а ветер нёс её из глубины парка. Что-то во всём этом было – Лиза с летящими за ней волосами, коляска, жёлтые листья вокруг...

Лиза остановилась, ветер утих, листья перестали падать, я встряхнулась и разглядела её повнимательнее. Дорогой, не наш плащ. Здорово потолстела, но ей идёт – не утрата стройности, а красивая фигура без прежней худобы и угловатости. Волосы из противно-жёлтых – золотистые (чем красится?). Не видно, что жидкие (начёс? не сами ж погустели? после родов у меня клочьями лезли). Отдохнувшая (от детского крика, что ли?). Измученная, издёрганная мамаша? Не вписывается Лиза в образ. Или это она так за своим ребёнком смотрит?

Что? Ах, ты торопишься... Да-да... кормить ребёнка. Да-да, материнское молоко – феномен (полгода кормления и в свой плащ ты не влезешь). Кто-нибудь помогает? Ну да, муж, свекровь. А потом ребёночка – в ясельки? Опять свекровь?

Уж со свекровью ей повезло. Ради этого стоило сидеть в девках до тридцати. И с квартирой – тоже. Они жили втроём (до ребёнка) в трёхкомнатной, а ещё за Лизой – двухкомнат-

ная в нашем доме (мама сказала, что в ней жили не то друзья, не то родственники, у которых не было своего угла). Вот так вдруг заполучить сразу две квартиры. И это, когда у нас на счету каждый метр, когда многие не имеют никакого жилья!

А ребёнок! Как я устала с ним! Ей детей вынянчила свекровь. Уж конечно, можно пописывать диссертацию... В таких условиях можно такое написать... Сразу на Нобелевскую... А ведь как тяжело пожилой больной (наверно, свекровь не молоденькая, а раз так, наверно, и не совсем здорова) женщине смотреть за маленьким ребёнком. Мне б такую свекровь и такого мужа, который бегал бы вокруг на задних лапках, я б тоже много чего написала. Но не всем же так везёт. Я всегда старалась напомнить тебе и окружающим, что ты всем обязана своей свекрови. Всегда, пока ты мне очень резко не сказала: «Успокойся, я о своих долгах помню, лучше свои посчитай». Да, тебе плевать было на других. О мёртвых – ничего, кроме хорошего, но я хочу говорить правду, хоть ты и моя подруга. Должны же мы когда-то начать говорить правду!

Да, ты устроила меня к себе в отдел, я ценю и помню, но как ты держалась, как вела себя со мной! Даже о своей защите не сообщила и не пригласила. Но я всё равно пришла и всё внимательно слушала, я же волновалась за тебя. И здесь ты оригинальничала – ни отзывы, ни вопросы себе не готовила. Вот, мол, мы какие, мы и с экспромта...

А хвалили тебя... Ну что – диссертация как диссертация,

и слова те же – «не только теоретическую, но и практическую значимость», «чрезвычайно ценно», «продемонстрировала незаурядные способности». А вот и новенькое:

– ...впервые на защите кандидатской, когда соискателю можно присудить учёную степень доктора...

Доктора? Хватил через край. Такое – раз в сто лет, тем паче – у нас. Не будешь же ты исключением.

Да, ты ж им стала!!!

И как только в ВАКе утвердили? Правда, ты пару раз ездила в Москву, возможно, что-то утрясала. Ты совсем перестала со мной делиться. Конечно, с твоей послеродовой внешностью всё, что угодно можно было утрясти, особенно с мужчинами. А вообще все эти диссертации никому не нужны, кроме тех, кто их пишет. Развелось учёных... Гораздо честнее просто хорошо работать, не помышляя об учёных степенях и званиях.

А Лиза в тридцать с хвостиком – доктор наук. Вторая в отделе после нашего профессора (он не в счёт). А я – третья. А могла бы быть второй (первой – профессор не в счёт). У нас все без опыта работы, а двое вообще сангиг окончили. Вечно я – в тени её славы. Вечно она – выше. Как памятник и пьедестал. Как числитель и знаменатель. Я же тоже и могла, и хотела, и умела, но...

– Препараты на консультацию?

– Чёрной Елизавете Филипповне.

– На съезд патоморфологов?

– Чёрную Е. Ф.

– Статья в «Архиве патологии»?

– Чёрной.

– На международный конгресс в Неаполь по проблемам меланом?

– Чёр...

Сам руководитель не поехал (только одного от отдела брали), тебя отрядил (где это видано? сумасшедший!). И статейки помогал тебе пристраивать. И свекровь с мужем исправно вели хозяйство и воспитывали ребёнка, иначе разве б сидела ты по два часа после работы? Как будто тебе за это сверхурочные заплатят. А как ты всех мучила! На каждый случай – подайте ей историю болезни, надо сопоставить с биопсией; блок – по два, по три раза посылала дорезать; есть сомнения (а они у неё есть почти всегда) – копается в архиве, читает литературу, консультируется с руководителем. Видите ли – только профессорские консультации ей нужны. Никого нет, а они вдвоём сидят, консулт... Никого нет, а они... И никого нет.

Не потому ли он и возит тебя с собой на съезды и симпозиумы? Отправляет в Неаполь? Не потому ли ты успеваешь посмотреть ещё и в зеркало, а не только в микроскоп? Для кого тебе быть такой ухоженной в нашем сплошь женском отделе? Не для своего же мужа, в конце концов.

Да, я виновата. Я так разволновалась за твою семейную жизнь, что не сумела скрыть тревоги от лаборантки, в ко-

торой никакая информация не задерживалась, обрушиваясь лавиной на всех, кто оказался вблизи. Жаль, что подвернулась она, но больше никого рядом не было.

– Да вы что... Да вы видели их с мужем? У них – любовь...
– протянула, как пропела.

Ну да, любовь. Знаем мы её, сама... Этим девочкам она всюду мерещится. Сомневаюсь, способны ли они хоть изредка думать о чём-то кроме неё (точнее, кроме замужества). Похоже, их это волнует даже во время цитовки.⁶

Но она-то не ошиблась...

Море. Песок. Пляж почти пуст. (Впрочем, им это безразлично). Они выходят из воды. Лиза снимает купальную шапочку, и ветер отводит назад её волосы. Жёлтые волосы, жёлтое солнце, жёлтый песок... Они проходят мимо, не замечая меня. Я смотрю вслед.

После стольких лет брака?! Хорошее браком не назовут. Нет этого в жизни, нет, а Лиза, опять, – исключение. Вечное исключение из правил. Ошибка природы, не исправленная в самом начале, пошла разгуливать, всюду искажая чёткость формулировок. Я не доотдыхала в институтском пансионате пять дней и уехала, увезя с собой ничего не понимающего мужа. Разве объяснишь...

Любич... Даже когда разразилась повальная эпидемия (пожалуй, пандемия) влюблённости в него, я устояла. А теперь... Так ли уж Лиза была проста, пересаживаясь к нему?

⁶ Цитовка – срочное гистологическое исследование.

Или – дальновидный расчёт? Хотя в расчётливости её заподозрить трудно. Иначе бы она не ошарашила весь отдел уходом в декретный (оказалось, Лиза – из немногих, кто не сильно дурнеет во время беременности). В декретный – когда заладилась с карьерой, в возрасте – очень за тридцать, имея уже одного (приемлемый для нас минимум и максимум одновременно, если не хочешь записаться в домохозяйки).

Год её не было (продлили отпуск, ей и здесь повезло). Наконец-то я почувствовала себя человеком. Я стала заведующей. Может, она и не выйдет на работу – ясельки и садики она не больно жаловала. Впрочем, когда есть на кого бросить детей... И где она такую свекровь откопала. Вот моя...

Лиза ничуть не изменилась. Должна была располнеть- родить второго в такие годы, но она влазила во все прежние платья. Она что – делает какие-то упражнения, сидит на диете? Всегда ей на пользу, что для других плохо. Потому я так и поступала. Для её же пользы.

Пусть она и доктор наук, но работала в моём отделе – хотя официально научники мне не подчинялись, только практики, но на самом-то деле, в моём! Лизиного покровителя взяли в Москву. Руководитель пришёл толковый, но робкий. Людей не знал, и узнать не стремился. Оргвопросов боялся. Руководить не мог.

Я ему помогала. А он и рад, только виду не подавал. Пришлось взять на себя немало. Конечно, везде подпись – его, но он не сильно вникал. Расставлял автографы на всём, что

я давала, а сам глядел в микроскоп и радовался, что не мешают.

Да, Лиза – моя подруга, но я решила: нельзя на этом основании давать ей поблажки. Мы должны быть объективны и беспристрастны и не идти на поводу своих симпатий и антипатий. С подруги я спрошу ещё строже. Премий она получила предостаточно и на конгрессы ездила. Для коллектива лучше, если Лиза будет работать в отделе (начальник согласился со мной). И о Лизе я думала – семья, двое детей, к чему ей сейчас эти поездки. Лиза перестала разъезжать, даже если приглашали именно её. Каждый должен иметь возможность поехать за границу и купить всё, что нужно, а не только избранные.

Парторгом тогда была моя приятельница, которая понимала, что нельзя раздавать характеристики направо и налево всем желающим (Лизин муж пошёл в гору, не то, что мой – и так ездил в загранкомандировки, навёз ей импорта, которым она себя обтягивала, каждый день – новое! И это – когда остальные уродуют себя отечественным кошмаром!). Из-за характеристики оформление документов затягивалось. Лиза не умела ничего выбивать, всё бросала (и зря, побегай она побольше – добилась бы, а не добивалась, значит, не так уж нужно было) и усаживалась за микроскоп. Здесь она приносила больше пользы обществу. И своей семье.

Но ей не угодишь! Несправедливо – график работы, нагрузка; одним – сходят с рук их ошибки, других – делают

виновными, когда они правы. Для этого я будто бы уничтожаю архив, чтоб концы в воду. Ты всё напирала на случай с тем хирургом, с которым зачастила на работу в его машине. Всегда ли из своей квартиры ты выходила? Я понимаю, ты защищала его, как могла, но там вправду была дисплазия и хватило бы иссечь конус, а он настоял на операции, и больная умерла. Ты – озлокачествление, операция – единственный выход; макропрепараты в архиве уничтожены заведующей, правду не восстановишь.

А если я и выбросила? Мы же не автоматы – только по инструкции. Я думала о людях – там и так нечем дышать из-за формалина, и места нет, теснота... У меня не было сомнений в своей правоте. Ему – ничего не было. Такое случается и со светилами. Возможно, он чувствовал себя не вполне... Ну, мало ли. Тебя или его мои чувства волнуют?

А ты опять за своё – подтасовка диагнозов в угоду главврачу. Да, мне незачем портить с ним отношения – не тебе же, Лиза, получать автоматы для проводки, спирт (сколько требуется, а не в два раза меньше)... Но позволила б я ему диктовать! Он знал мои принципы. Он тоже не хотел враждовать со мной. Он делал всё, что я хотела. Чтобы слушались или хотя бы прислушивались, надо, чтоб слегка боялись... То же и с архивом... А мелочи в диагнозах... Они уже не для кого не важны. Чтя мёртвых, нужно думать о живых, а не устанавливать с дотошными подробностями, вороша старьё, какой оттенок имела истина. Истина всегда относительна. У

нас истина – смерть, и зачем ломать копья? Всё равно никого не воскресишь.

И всё же «Отличника здравоохранения» я тебе дала, разрешила взять. Не лучшее ли это доказательство, как непредвзято я к тебе относилась. Начальник предложил меня, но директор не утвердил (знал, что уходит, напоследок всем портил жизнь). «В отделе склоки. У родственников покойных вымогают деньги. Не всё ясно с излишками спирта» – передал мне шеф. У меня всегда был образцовый порядок. Кто смел жаловаться? Не Лиза. Она совсем не соображала, хоть и со степенью, кому что можно говорить, жаловалась не в обход, а прямиком мне всё вываливала. Очень ты была в чём-то примитивна, Лизок.

И несмотря на это – какой успех! Лучший патоморфолог республики, а в последнее время (оно и вправду стало последним для тебя) и за её пределами. Откуда только не возили тебе препараты... Говорят, даже из Москвы наш бывший передавал. Стёклышек на столе – гора, записок с просьбами – ворох, очередь в коридоре – как в универмаге за дефицитом, сама – нарасхват.

– Елизавета Филипповна! Елизавета Филипповна! Пожалуйста, вы!

Стоит толпа, и все просят, хватают за руки, останавливают, молят, на всё готовы, все зависимы – жизнь! – своя или близких. Молят – тебя. Зависят – от тебя! А ты уж как захочешь. Захочешь – да, а не захочешь – идите, гуляйте, ждите,

пока освобожусь, пока будет настроение. Или вообще: уходите – не хочу! А она, дурочка, и не понимала, металась, как девочка на побегушках. У неё в комнате вечно была толкучка – полно людей, и без официальных направлений, с улицы, можно сказать, а самой никогда нет на месте, бегают – кого-то к маммологу, кого-то к проктологу, кого-то на рентген, кого-то навестить. Левый шкафчик и нижний ящик письменного стола у неё были забиты банками с апельсиновым соком, который она скупала, не заботясь, чтоб хватило другим, когда он появлялся в буфете. Она перетасила не один десяток банок в больничное отделение, навещая людей, о которых не имела ни малейшего представления – знакомая знакомых знакомого. А к телефону по десять раз в день бегала.

Мне пришлось сделать ей замечание.

Задранная голова, волосы без седины по плечам, хохочет: – Дорвалась до власти, а её-то нет!

Опять – рот до ушей, он закрыт, разве только когда она в микроскоп смотрит.

– Своей работой занимайся, а я сама справлюсь.

Пошла к выходу – режет волосами чёрный коридор, прямая, длинная, как секционный нож. Ушла, не взглянула.

Власть не была для меня самоцелью. Я думала обо всех и о Лизе, в первую очередь. Я давно поняла – трудности только помогали ей. Я дала Лизе ещё один консультативный день, поручила готовить обзорные лекции (через шефа, конечно) – это способствовало её профессиональному росту. Я хоте-

ла мобилизовать её силы, максимально высвободить творческий потенциал. Чтоб создать ей оптимальный режим, я ежедневно проверяла в заведённой мной книге прихода и расх... ухода, не теряет ли она времени понапрасну, опаздывая на работу или уходя раньше. Я думала о тебе. Но ты не понимала. Ты почти перестала говорить со мной, только смотрела насмешливым прищуром, как на ряженую, как на дурочку, вроде я не вполне, вроде насмеялась: «Ну давай, давай, а мы поглядим, посмеёмся...» Лишь таким взглядом, от которого у меня путались мысли и слова, ты меня удостаивала. А чаще не замечала, будто я не заводелом, а фикус в кадке, репродукция с «Апофеоза войны», которую какой-то шутник прицепил на стенку (я так и не выяснила – кто). Проходя мимо (я ещё не успела сказать, чтоб сняли), ты покосилась, усмехнулась: «Это то, что нам сейчас нужно». Что ты имела в виду?

Сейчас нужно хорошо и много работать. Лизе – прежде всех. Некоторые в отделе, как, наверно, и сама Лиза, думали, что я к ней придираюсь. Кое с кем пришлось расстаться. Одним – дать премии (они замолчали). Другим – не дать (стали говорить тише). И разные мелочи – льготные путёвки, график дежурств и отпусков, спирт... Да, и спирт. Он почему-то всякий раз оставался. Никаких выпивок, хотя тогда ещё не объявляли тотальную войну с пьянством, но спирт в доме нужен – то компресс, то примочка, ну, а кому и... Я выделяла работницам понемногу. Только ты, Лиза, у меня никогда

не просила спирт, как будто не нуждалась в нём. Да ещё этот молодой научник, которого ты чему-то там подолгу учила в своей комнате. Он стоял горой за тебя, впрочем, он был очень молод, ему не надо было тянуть на максимальную пенсию, у него не было семьи, с которой где-то надо отдыхать, детей, которые часто болеют, жены, которая хочет... которая много чего хочет... А, по-моему, ты влюбила его в себя, Лиза. Ни работа, ни дети, ни муж, даже годы не портили твою внешность. Где ты спряталась от времени? Как умудрялась сохраняться – как макропрепарат по Кайзерлингу. И фигура – при двух детях в возрасте за сорок – и такая вызывающая стройность шестнадцатилетней девочки. Стройность до неприличия. Я не раз нарочно спускалась за тобой в буфет и наблюдала, что ты ела. Вроде обычно, не изнуряла себя ни вегетарианством, ни сыроедением и от сладкого не отказывалась. А у меня – голливудская диета, по вторникам и четвергам – бассейн, по средам и субботам – массажист, но платья всё сильнее собирались сзади поперечными складками, и мама шила новые, а они опять начинали морщить...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.